

Н. Н.
ЗЛАТОВРАТСКИЙ

Избранное



Златовратский Н. Н. Деревенский король Лир: Повести, рассказы, очерки.
//Современник, М.:, 1988
FB2: Miledi, 2011-06-29, version 1.0
UUID: bbe8a1fa-a16b-11e0-9959-47117d41cf4b
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Николай Николаевич Златовратский

Крестьяне-присяжные

Повесть написана в 1874—1875 годах.

Содержание

Глава первая По пути в округу	0006
I Напутствие	0006
II Присяжные на ночлеге	0021
III Деревенский статистик	0034
IV «Божий помещик»	0041
V Проходимцы	0048
VI Лесная сила	0060
VII Блаженненький	0068
Глава вторая Первое знакомство с новыми правами	0078
I Пеньковцы приспособляются	0078
II «На судейском положении»	0091
III Общинники и собственники	0104
IV Мужики	0116
V «Оправили»	0136
Глава третья Столкновения в округе и последовавшие результаты	0151
I Во что разыгралась метелица	0151
II Городские сцены	0163
III * * *	0174
IV * * *	0190
V «Смущение»	0209
VI «Засудили»	0220
VII Бегуны	0237
Эпилог	0243

Примечания	0251
Крестьяне-присяжные	0263

**Николай Николаевич
Златовратский
Крестьяне-присяжные**

Глава первая

По пути в округу

I

Напутствие

К началу ноября пришла очередь выставить присяжных в «округу» – так у нас называют окружной суд и вместе губернский город, – за подгородными волостями уездного городка П., лежащего в Палестине, омываемой водами Оки и ее притоков. В их числе была и Пеньковская, от которой на этот раз «в череду» значились: Лука Трофимов – мужик обстоятельный, уже раз бывший присяжным, значит, в таком деле советчик первый, Петр Спиридонов да Савва Прокопов, Еремей Петров да Еремей Горшков – народ все хозяйственный и в летах умеренных; из стариков только один и попал Фомушка, да и то занесли его в очередные списки в последний раз, по нужде, за сына: избу сыну нужно править, лес возить, погорели они несчастным делом. Потом значились: Дорофей Бычков, мужик

базарный, ловкий и Петр Недоуздок, крестьянин «правильный», богобоязненный и даже состоявший в недавнее время сотским.

Приказали на Михайлов день собираться. Порешил мир на сходе: считать по три пятака на брата в день. На подводы не полагается, потому до своего города можно пешком дойти, а там по шоссе – как ни то со Христом, а где и с обозами, при случае. А лошади дома нужны лес возить, да и содержание их в городе дорого стоит.

В Михайлов день очередные собрались в волостное правление, совсем снарядившись в путь: мешки за спины подвязали, в них бабы по обменке положили, по рубаше да по портам, и потискали ржанных кокурок на сметане; к мешкам пристегнули лапти и сапоги, по паре.

– Ну, братцы, пора уж... Неравно поторапливайтесь. Беда, слышь, запоздать. Штрафы берут, такие штрафы, что и казны всей нашей не хватит. Вот что! – говорил старшина. – Вы не смотрите на шабринских: они на подводах едут. Вишь, их Гарькины везут всех гуртом на фабричных конях!

– За что ж бы это они их ублажают, Парфен Силыч? – любопытствовал Недоуздок.

– Ну, уж это кто их знает. Не наше это, почтенные, дело... Да и вам мой приказ: коли что ежели и прознаете, так молчок. Наше, мол, дело сторона.

– Знамо, сторона... Мы по себе.

– Наше дело молчок. Так-то-сь! А то там, в округе, народ до всего дошлый... Обчество, братцы, берегите, чтоб за вас ответу не было.

– Как можно обчество!.. Ежели что – нас же накажете.

– Это так, к слову... Да еще присмотр за собой ежечасно имейте, оглядку вокруг себя... Ты, Лука, знаешь... Потому будете там у всех начеку, а народ там тонкий, во всем будет от вас ответа ждать. И чтоб нам, почтенные, ни против людей, ниже против господа дураками себя не оказать.

– Зачем дураками оказываться!

– Да еще, господи сохрани, не прохарчитесь как ни то на винище на подлое... Сдерживайтесь как можно. Деньги у нас, братцы, не очень вольные.

– Зачем баловаться!

– А то как бы нам с вами, судьями, после не поссориться. Да и еще приказ: коли ежели где в трактире али в харчевне будете, всего наипаче старайтесь молчать и ни с кем, а более с приказными да ходоками, зубы не точить.

– Слушаем, Парфен Силыч.

– Ну, и господи благослови! – сказал старшина и, встав, перекрестился.

– Благослови царь небесный, – ответили пеньковцы и тоже покрестились.

– Ну, вы, судьи, получай свои-то паспорта! – крикнул писарь и роздал повестки.

– А чем не судьи, Хрисанф Потапыч?

– Лапотники первый сорт! Лыком шиты!

– Годи мало: сапоги сошьем, не ты один в сапогах ходить будешь.

– Того и жди. С нас снимете да себе наденете. Кто у вас артельный?

– Лука артельный у нас. Он ходил в череду, знает порядки.

– На вот, получай; ты принимаешь – на тебе и спрос будет.

Лука Трофимыч принял харчевые деньги, собрал повестки и вместе на груди в кошель завязал.

– С богом! А ты, Лука, посматривай за Недоуздом-то! – крикнул им вслед старшина. – Попужайте его там, братцы, судьбищем-то... А коли что, так мы его после и лозой – судью-то!

Что же это за «юридические лица» были все эти Луки, Петры, Еремеи, которых еще можно лозой вспрыскивать? Все они были, прежде всего, трудолюбивые землепашцы, принадлежали к тому великорусскому типу, который отличается крупными чертами лица, ростом более среднего, шагистою и несколько развалистою походкой, серыми или бледно-голубыми глазами и белесовато-рыжими (двушерстными) бородами. Все они большие любители говорить и слушать разные сентенции, вроде того, например, что «мужику баловаться нельзя; мужика за баловство знаешь, как надо... Мужик – что бык...». Все они более легковверные художники, чем строгие мыслители, и хотя, прежде чем на что-нибудь решиться или решить какое-нибудь дело, долго носят с ним, думают, исследуют со всех сторон, но вдруг, утомившись, бросают все свои длинные подготовительные изыскания и произносят решение,

иногда совершенно противоположное всем добытым предварительными изысканиями результатам, но зато согласное с их душевным настроением. Они впечатлительны; в них заметна склонность решать дела «по душе», а не по хитросплетенным измышлениям. Все это кладет на их характер печать добродушия. Эти общие свойства прилагались к нашим пеньковцам в разнообразных степенях: в одном преобладает долгая упорная вдумчивость – «семь раз примерь»; другим, напротив, овладевает всецело вдохновение, и он живет «найтием минуты». Первый, по понятиям пеньковцев, будет считаться «мужиком основательным, правильным», второй – «неосновательным». Лука Трофимыч известен всем за самого основательного или, иначе, «обстоятельного» мужика. На печь он никогда не завалится, не увлечется ни делом, ни бездельем; все у него идет ровно: есть дело – он делает его не торопясь, основательно, толково, нет дела – он ходит с топором вокруг избы, в огороде – там стукнет, тут потешет, в другом месте скрепит. И везде у него крепко, плотно. Посторонним влияниям поддается он

туго, осторожен, даже недоверчив; ходит в высокой шляпе грешневиком. Но при всем том с этим же Лукой Трофимычем случилось раз такое дело: облюбывал он сруб избяной; долго всматривался в него, долго уговаривался с владельцем; казалось, взвесил все, обдумал – и дело приходило к концу. Но тут кто-то, по дороге в город, заехал к нему в гости и, между прочим, заметил, что он бы, пожалуй, продал «хорошему человеку» и лошадь, и упряжь, и телегу. «А что? Пожалуй бы, я и купил, – сказал Лука Трофимыч. – Хоша мне и не очень нужно, да конь приглянулся, и человек-то ты хороший». Через десять минут Лука Трофимыч выложил половину денег, назначенных на сруб, а о нем и не вспомнил. Потом сам же добродушно подсмеивался и над собой, и над владельцем сруба: «Да вот поди ж ты, братец... кто знал? Вот мы полгода, почти-тай, с тобой сговаривались, а дело-то как вышло»... Но это нисколько не мешало Луке Трофимычу считаться мужиком основательным. Недоуздок – другое дело. Мужик он из наших пеньковских очередных самый младший: ему лет тридцать с небольшим. Мужики говори-

ли, что и самое «обличив» показывало в нем «необстоятельного» мужика: у него русая, кудрявая, окладистая бородка, широкий, открытый и вечно улыбающийся рот, постоянно показывающий белые здоровые зубы; маленькие смеющиеся серые глаза; на русых, кудрявившихся, под скобку, волосах носит он картуз, который лежит на них, как на форме. Идет «обстоятельный» мужик, задумчивый, сердитый, повеся длинную бороду, посмотрит на Недоуздка и не утерпит, чтоб не сорвать: «Ну, чего оскалываешься? Чего любо?» И Недоуздок тут и разольется над ним самым добродушным хохотом, хотя он прежде и не думал смеяться. Репутацию «необстоятельного» получил Недоуздок за свою впечатлительную и порывистую натуру и действительную «необстоятельность» своего характера. Как-то уж совсем он жил «под наитием». Парнем он был самый веселый, самый разбитной малый: ни один вечер, хоровод, посидки, свадьба не обходились без него; его всегда приглашали в дружки, так как никто не умел заразить всех таким добродушным весельем. «И рожа-то у него, что у скомороха», — говорили обстоя-

тельные мужики. А скоморох, когда ему минул девятнадцатый год, встретился с одним купцом. Купец этот был полуидиот, полуаскет, постоянно ходил в церковь, ставил свечи, крепко стучал лбом в кирпичный пол; на суставах пальцев на руках и на коленях образовались у него большие мозолистые наросты от поклонов. Это поразило Недоуздка, он сошелся с ним – и скоро нельзя было узнать парня; бросил пирушки, девок, хороводы, даже свою возлюбленную, которая с отчаяния скоро сошлась с другим, и стал «церковником»: читал псалтирь, звонил в колокола, целовал у попа руку и раздувал кадило; стал поститься, много молиться. Купец собирался идти в монастырь, и Недоуздок собирался «посвятить себя богу». Купец действительно ушел в монастырь, а Недоуздок сейчас же после этого вернулся к пирушкам, к хороводам и как ни в чем не бывало потребовал своих прав: и от свадеб, и от сверстников, и даже от своей возлюбленной, которую принудил выйти за себя замуж, отчего и устроил не очень красивую семейную жизнь. Он не мог себе представить, почему она его могла разлю-

бить. У них поначалу шли с женой такие разговоры: «Ориша, – скажет Петр, – подь сюды... Сядь... Ну, ведь ты врешь, что ты меня разлюбила? А? Врешь ведь?» – «Мне что-ка! – запевает Ориша. – Все одно: ты мне муж». – «У, дура! Поди прочь!» Он стал мечтать, как бы ему жениться на другой, а эту жену отдать своему сопернику, допрашивался, нет ли таких подходящих законов, но их не оказалось. «Умрет, тогда женись, – говорили ему, – вот тебе и все законы, – располагайся». Но Петр не хотел смерти жены. Впрочем, мало ли что могло случиться «под наитием» и что могла надевать поселившаяся в голове мысль. Он мечтал уйти куда-нибудь, взять у старосты свидетельство, что жена умерла, и жениться на другой и пр. Но тут дела повернулись неожиданно: кто-то сказал ему, что житье на фабриках веселое и привольное. Он, не долго думая, бросил хозяйство, жену и ушел. Мотался по фабрикам года два; шлялся по кабакам, играл на балалайке, пил, плясал трепака. Он забыл о жене, та – о нем. Она оказалась ловкою бабой: забрала хозяйство в руки, взяла батрака и вместе с ним «подымала» землю. Но вдруг

пришел Петр и потребовал признания всех своих на время отчужденных прав, – «к закону вернулся», – как говорили мужики, сделался степенным, рассудительным, хозяйственным мужиком. Только свои и знали, как он заставлял и жену «вернуться к закону».

Лука Трофимыч и Недоуздок шли впереди. За ними следовали прочие «хозяйственные и правильные мужики». Только Фомушка (по списку Фома Фомин), это воплощенное смирение, плелся сзади всех.

Шли присяжные бойким и частым шагом, молча. Верст за пять от волости сиверком понесло с полей. Дорогу стало замечать, словно мучною пылью, мелким снегом. За полушубки, за воротники пробивала стужа к телу. Пройдя верст семь, путники остановились.

– Ишь ты как, братцы, замечает. Того и жди, что разыграется...

– Вьюжит... Кафтанишка-то, парни, у меня не очень чтоб хорошо приспособлен. Дырявит! – печалился Фомушка.

– Когда б засветло в слободу поспеть.

– Где поспеть? Сугробно.

– На печь бы, братцы, важно теперь али бы

на полати забраться, – мечтал Недоуздок. – А то, глянь, какая подымается мятлица. Неровно зачоченеешь. Валенки-то, вишь они, поистерлись. Хорошие-то жене покинул. Жалко стало, – истаскаю, думаю.

– Все мы тоже не очень чтоб в какие заморские меха-то разодеты. Эк ведь господь наслал за грехи наши. Хоть бы пообождать денек-другой.

– Нельзя. У судей все по строкам.

– И то. Не застаивайся, братцы. Нехорошо в экую божью волю.

Присяжные обернули головы платками и опять бойко двинулись вперед.

Снега наносило все больше и больше. Хотя времени было еще немного, но становилось заметно темнее. Лес вдали зачернел. По ветру волчий вой донесся. Влево стали показываться едва заметные придорожные елки.

– Вон путина-то. Способней теперь будет идти-то. Тракт многоезжий, – заметил кто-то.

По большой почтовой дороге идти стало легче; но и она была пустынна: никто не обгонял их. Вот кто-то где-то свистнул. На свисток еще ответили. Присяжные пошли уже не гу-

сем, а кучей.

– Это он балуется. Любит он экую пору, – заметил один Еремей.

– Нет, это не он. Это овражники, – сказал Лука Трофимыч.

– Много, слышь, их здесь.

– Много, фабрики все кругом. Народ баловень... Народ отябель кругом их селится. Днем-то их не видать, а вот по ночам так знатно закучивают. По слободе у них как ночь, так и пойдет гульба. Позапрошлым годом такого молодца мы судили. Рассказал всего. Много, говорит, нас. Другой раз, говорит, на фабрике-то месяца по два расчета не дают, а то без муки сидим. Ну, и собираемся в слободу. А там есть коноводы такие: сейчас это тебе водки дадут на голодное-то брюхо. И денег предложат, только, говорят, по ночам на дорогу выходи. И идем, говорит, – кто в сигнальщики, кто в досмотрщики, кто в передатчики...

В это время кто-то промчался верхом, обогнал их, круто осадил лошадь, оглянул молча, свистнул и, обернувшись назад, скрылся в кустарник.

- Это, должно, из них, – досмотрщик.
- Они нас не тронут, – заметил Недоуздок.
- Что так?
- Не тронут. Мы судьи.
- А почему им знать?
- Как не знать! Кто в эту пору из пешеходов гурьбой ходит, кроме нас! Богомолы по зимам не ходят; на заработки тоже не ходят, а коли ходят, так в экую пору по своей воле не пойдут – не срочные.
- Это так. А что ж бы им нас и не тронуть? Разве они нас боятся?
- Судей бояться им нечего. Нет, они судей не боятся, потому – что им судьи? Они станого боятся. Ну, а все же судью ублажить им чем ни то нужно. С судьей ему, гляди, прилучится встретиться. Нехорошо, по совести, судью обижать.
- Нет, они нашего брата не обижают, – подтвердил Лука Трофимыч. – Рассказывал тот парень: нам, говорит, понапрасну людей обижать непочто, мы сами по горькой нужде идем. А там, говорит, как пустят фабрику в ход, заработки, харчи выдадут, – мы и опять работать... Плачет паренек-то, говорит: я бы-

ло в покаянье пришел, – очень уж, вишь ты, душа-то стала тосковать от такого беспутства, – а они ж меня, дурака, и выдали.

– Дурака! А их не поймают, выходит, умников-то?

– На то он и умник... Умник-то в лисьей шубе ходит.

– Ну, и что ж, Лука, вы этого парня?..

– Оправдали... О господи, господи! – вздохнул Лука и помолчал. – А гляньте-ка, ребята, – огни! Это в слободе!

– Это волки!

– Где волки! Вишь вон, и колокольня мерещится будто...

– Поддай, братцы, ходу, – крикнул Недоуздок, – печка близко! Здорово знобит!

Присяжные прибавили шаг. Слобода была близко.

Присяжные на ночлеге

Наступила ночь. В слободе уездного города П. кое-где мелькали сквозь занесенные снегом окна мутные огни. Где-то выла собака. С одного постоянного двора по снегу бегали через улицу из-под подворотни длинные тени и лучи: кто-то ходил по двору с фонарем. Слышно фыркание лошадей.

– Осторожней с огнем-то... вы! – кричали из глубины двора.

– Мы осторожны... не впервой.

– То-то. Полуношники. Сожжете, – с вас взыски-то какие!

– Ну, не очень важны хоромы-то... Може, выплатим старыми лаптями...

– О, гужееды-зубоскалы! Сами бы нажили... Век изжили в одних портках, так не знаете, каково она, нажива-то, дается.

Присяжные, все занесенные снегом, подошли через сугроб к воротам и стукнули железным кольцом.

– Кого там еще в экую ночь носит?

– Ночевать бы, – откликнулись присяжные.

– Эко ночевальщики какие проявились! – огрызался голос со двора. – Куда это ветер гонит?

– В округу.

– Пешие, чай?

– Пешковые мы.

– Проходите дальше... Проходите... Местов у нас нет... Какие такие с вас барыши?.. Проходите в харчевню.

– Полно-се, ты, старый! Уймись! Загрызла тебя корысть-то! – крикнул женский голос из избы. – Куда их гонишь в экую погоду? Где они будут харчевню искать теперь?

– Ну, умны стали, – проворчал кто-то и стукнул дверь.

– Много ли вас? – спрашивал тот же женский голос за калиткой.

– Восьмеро.

– Много. Тесно будет... Экое дело!.. Возчики еще у нас стали, порожняки... Разве потеснятся.

– Мы потеснимся. Не важно привыкли спать! – откликнулись голоса со двора. – Пу-

щай!

– Ступайте, родимые, ступайте... Да снег-то отряхните на воле. Намочите, – говорила женщина, отворяя калитку.

Присяжные вошли в избу, в которой по лавкам укладывались возчики; они, видно, только что поужинали. Работница собирала со стола посуду.

– Раздевайтесь, родные, – говорила, входя, хозяйка, – посушитесь, а вы, возчики, потеснились бы.

– А кто будете? – спросили возчики.

– Чередные будем.

– Присяжные?

– Они самые.

– Ну, ну, грейтесь... Места будет... Всем хватит. С печи послышалось ворчанье:

– Эка напустили побиральцев... Гольтяпы – какая орава.

– Полно, уймись...

– Спи, старичок, со христом; мы не обидим.

– Паужинать что будете? – спросила хозяйка, полная, с грудью-козырем, расторопная баба.

– Нету. У нас деревенское есть. Кокурками

бабьими побалуемся. Тоже бабы наделили как быть, – любят.

– А то поели бы. Щи вот остались. Я ничего не возьму. Знамо, люди из повинности. В городе тоже, поди, четырнадцать дён прожить придется. Изъянно.

– Харчевито.

– Харчевито – что говорить! Похлебайте.

– Приживальщики! – ворчал голос с печи.

– Вот оно у меня, дитятко-то, – заметила баба. – Правду говорят, что малый, что старый – все одно.

– Мы, коли что, поплатимся за щи-то. Наливай. Знатно оно, с морозу-то. Зябко было.

– Как не зябко! Погрейтесь. Работница поставила щи на стол.

– Где у нас гроза-то! Ай унялась? – спрашивали вошедшие со двора с фонарем возчики.

– На печке гроза-то. Оттуда гремит, – отвечала хозяйка.

– Ну, ну! Гремит еще? Грозен.

– Хозяин будет? – обратились присяжные к хозяйке, кивая на печку и залезая за стол.

– Нету. Отец. Блажной – не приведи господи...

- Нехорош стал отец – в гроб пора. Нажил добра – теперь довольно! – ворчал старик.
- Вот он на вас, на судей, больно сердит.
- Ой? Что так?
- Да вот года три тому назад штрафовали его. Тоже вот в череду был: повесткой вызывали. «Куды, говорит, еще в город ехать?.. Какой такой суд с мужиками – что за мода? Брось, вишь, хозяйство да судить ступай. Мало там их, приказных-то? Модники! Какой, говорит, я такой судья-мужик? Народу только баловство. Воры-то на смех подымут...» Ну, и не ходил; двадцатипятирублевкой штрафовали. С того и сердит... А хозяин мой тоже в череду. С вами, мотри, будет. Уехал позавчера.
- Мотри, с нами будет.
- Так думать нужно. Что поделаешь? Ваше дело подневольное. Убыточно оно, точно... да, толкуют, для души хорошо. Вы как?
- Это об чем?
- А вот говорят: для бога очень хорошо, для души. Из вас кто был ли в череду-то?
- Были, – откликнулся Лука Трофимыч.
- О! Так скажи-ка ты мне об этом. Уж я и буду спокойна.

– Это об душе-то тебе сказывать?

– Да, да... Об ней-то ты мне сказывай. Хозяин, признаться, тоже не хотел ехать, да поговорил. На этом и согласился. А то говорит: «Боюсь я, – говорит, – баба, этого самого суда». Да чего, мол, тут, Спиридон Иваныч, бояться? Не ты один. «Так-то так, – говорит, – а все же как это подумаешь, так тебя будто в зноб бросит... Перцовки, – говорит, – коли неравно что, перед судьбищем-то выпью».

– Это так, так, – заметил один из возчиков, – по себе знаю, помогает чудесно. Я ее, перцовку-то, во как уважаю. Однава наступился я. В зажору, братцы, попал совсем, и с возом. Так думал: «Ну, больше, мол, Петруха, не жилец ты...» А еще оженился недавно только. Жалко было бабу... Да перцовки, братцы, выпил это с фершалом штоф, ну, и опять хоть снова; в зажору полезай.

– Да ты это к чему сказывал о перцовке-то? – переспросила хозяйка.

– Это я к себе...

– А кто тебя просил? Ты слышь, я рассказываю: на хозяина, мол, страх напал. Говорит: «Мотри, кабы после-то совесть не заклевала».

Я вот к чему... А он об зажорах.

– Всякому свое мило, – заметил возчик и улегся на лавке, подостлав тулуп.

– Так я вот об этом-то... Как ты скажешь... Бывалый ведь ты? – обратилась хозяйка к Луке Трофимычу.

– Ну, об этом как тебе говорить. – Лука Трофимыч затруднялся и продолжал смущенно: – Дело точно будет, так сказывать надобно, доброе... Да во всем нужно с рассудком... А пожалуй, и так скажем, что как ежели по человеку...

– Да, да... Без рассудка долго ли до греха. А все ж за благодушного-то судью бога помолят.

– Помолят. Это будь спокойна, хозяйка, – заговорил один из возчиков, подходя к столу. – Да вот как помолят-то, я вам скажу... Ты, что ли, в судьях-то был?

– Я был.

– Ну, так вот... Я, может, тебя за твое-то благодушие во как бы отблагодарил, кабы в силу было... Так вы меня племяшом уважили, что я за кашу не сяду, за вас не помолившись.

– Что ж у тебя племяша-то судили?

– Судили. Так, дело совсем непутящее бы-

ло. Зашел, вишь ты, братец, он в городе с ребятами в кабак, да и забаловались там за полуштофом. А тут, на грех, и случилась в кабаке-то драка, да кто-то и умри непутевым часом. Всех и забрали. И нашего-то. Год сидел в тюрьме. Совсем мы со старухой, с маткой-то его (сестра мне будет), порешили, что уж пропадать ему за чужое дело... Паренек был исправный, кормилец, один после отца надел справлял...

– Ну, и оправили его, судьи-то?

– Об чем же я-то рассказываю? Совсем уважили. Да вот как, братец: сестра-то это моя, старушка, ходочка какого-то упросила в округе, чтоб он ей всех судей-то на записку выписал, поименно. Вот как. Да с этою бумагой-то летось в Соловки сходила, перед угодниками по свечке за здоровье судей затеплила старушка божья!

– Зачтется это твоей старушке от господа.

– А я об чем же?.. Она вот теперь говорит сыну-то: «Я, бат, вам уж больше, по старости моей, не работница, отпусти ты меня, бат, на гору Афон, – еще помолюсь за новых судей-то...» Так вот я и рассказываю: за благодуш-

ного-то судью молитва в народе не пропадет...

– Нет, нет.

– Так ты за хозяина-то будь спокойна.

– Я спокойна...

– Ну, и ладно. А присяжных всегда уважь.

– Мы уважаем. Этого у нас греха нет.

– Ты бы им вот кваску нацедила, и я бы, может, хлебнул кстати.

– Федосья! Нацеди-кось.

– Благодарствуем, хозяйка, – сказали присяжные, вылезая из-за стола.

– Не на чем, родные. Может, наш кусок не пропадет. Ложитесь-ко. Чать, завтра рано тронетесь?

– Порану. К вечеру нам быть бы нужно.

– Слышь, к нам сюда будет суд-то ездить...

Хорошо было бы для нас, неизъянно.

– Для нас все одно...

– Все ж ходьбы-то поменьше.

– Это правда... Сапогам облегчение.

Утром поднялись присяжные рано, отдыхали они немного; еще свет не занимался, как они начали справляться. Возчики еще спали. Хозяйка поднялась за перегородкой, зевнула,

вышла, почесывая обеими руками под повойником, и зажгла свечу.

– Ну, дай бог счастливо, – заговорила она, пожевывая и крестя рот. – Увидите моего-то хозяина, известите, что, мол, мы благополучны.

– Ладно, скажем.

– Щи, мол, у твоей хозяйки хлебали... А останавливались, мол, у нее возчики, скажите.

– Ладно.

– Да известите (вот только что в просоньях-то вспомнила): Палагея, мол, родила... Уж там знаете в кумовья его думали, да уж заочно помянут. Родила, мол, родила... Девочку, мол.

– Скажем. И про Палагею известим. Будь покойна.

Один из возчиков повернулся на лавке, высунул голову из-под полушубка и, вытаращив осовелые глаза, долго смотрел на присяжных, потом спросил:

– Вьюжно?

– Метет!

– То-то зябко.

И, закутавши голову в полушубок, повернулся к стене.

– Почтенные, – сказал Лука Трофимыч, – вы бы присмотрели... Чтоб после греха не было.

– Ступайте, ступайте со Христом! – кто-то крикнул с полатей. – Мы вас не опасаемся.

– Все же...

– Нету, нету... Зачем грешить на вас! Маetano вам будет идти-то? – спросил голос.

– Сугробно, думать нужно.

– Может, коли порожнем нагоним, подвезем.

– Спасибо.

Присяжные подвязывали мешки.

– Отчего не подвезти? Подвезем, – отозвался кто-то еще. – 0-ох, господи!.. А у тебя, хозяйка, тараканов довольно.

– Ну, что они тебе, тараканы-то, помешали?

– Я так... к слову... Мне что? Пущай живут. Вдруг кто-то забредил: «Суди-суди... у кобылы... кобылы... хвост украл... Ло-ви его, братцы!» – закричал впросонках возчик и проснулся.

– Ах, чтоб те... где кобыла-то? – спросил он, бестолково водя глазами.

– Лови ее!.. Увели!

– Домовик, чтоб его... Придушил совсем. А навалист он у тебя, хозяйка.

– Прощай, хозяйка... Прощай, дед! Не обессудь за беспокойство. Ай спишь?

– Ну-ну, уж ступайте... Судейщики! С этою вашею модой-то, того гляди, всех перережут да переграбят. Такой разбой кругом пошел, – когда было видано?.. Поблажники!

– Ах, грозен у нас на печи судья проявился! – заметили возчики.

– Федосья, запри за ними калитку-то! – крикнула хозяйка, опять укладываясь за перегородкой.

– Не ходи, незачем... Сам запру, – заворчал старик, спрыгивая с печи прямо в валеные сапоги. – Ноне только за всем своим глазом присмотри – то и цело.

Присяжные выходили один за другим. За калиткой они снова перекрестились и пошли вдоль слободы. Еще не рассветало. По улицам сугробы намело. Ноги вязнут. Где-то вдали светится огонь. У домишка стоят несколько

саней; лошади дремлют и вздрагивают. Откуда-то слышатся взвизгивания песни и гармоники.

– Души-и! – вылетает из глубины двора подавленный выклик.

– Стой-ой!.. Ой!.. Вот все здесь – получай!..

– Вина-а! – неистово раздается ответный крик.

– Крра-а-а-ул! Косу вырвал... Па-ад-лец! – выбегает из калитки растрепанная женщина.

– Вот они где... Грехи-то!.. Сохрани господи! – боязливо промолвил Фомушка.

Присяжные удрученно молчали.

III

Деревенский статистик

Опять раскинулась пред нашими пешеходами «трактовая путина» – теперь почти безбрежная, совсем слившаяся под общим снеговым пологом, которым укутала вьюга за ночь и дорогу, и луга, и поля и до которого еще не коснулся ни лапоть, ни вяленый сапог, ни копыто, ни санный полоз. Ровною и живописно однообразною скатертью раскинулась она впереди. Изредка только попадались путникам спасительные, уныло согнувшиеся в одну сторону, заиндевевшие и покрытые белою бахромой елки, вокруг которых наметала вьюга целые валы снега. Все же путина эта была не пустынная, и в другое время весело на ней путнику. То усадьба покажется в стороне за рощей с своими старыми службами, с красными тесовыми крышами, длинным барским домом, с не тронутыми еще новым владельцем или арендатором-купцом «балясами» и колоннами. То выселок выбежит на крутой берег плещущейся в овраге речки тремя-че-

тырмья новыми большими избами, мельницей, пасекой – это владения поселившихся на «своих» пустошах братьев-собственников, мирно живущих, пока ходок-аблакат не занесет к ним страшного слова «раздел» и не «натравит» их на бесконечную тяжбу, в которой каждый будет доказывать права свои «по стариковой памяти» и пока в этой «травле» не погибнет выселок, выпустив на вольный свет безземельных голяков и обогатив «за труды и юридические познания» ходока-аблакаты и стакнувшегося с ним «большака-брата». То монастырь блеснет белыми стенами и золотыми главами среди необозримой поймы и заповедных лугов. То вдруг за лесом, на спуске к полной реке, усеянной правильными площадками бесчисленных плотов, где, бывало, разбиты были английские скверы и парки и с утра до поздней ночи слышались звуки охотничьих рогов, вдруг выдвинется чудище, длинное и высокое, шумящее и гудящее тысячами веретен, смотрящее сотнями мигающих в сумерки глаз...

Деревенька высыпала пред присяжными по обе стороны «трактовой путины» десятка-

ми двумя-тремя убогих изб. После вьюги еще печальнее смотрят они: какая-то пустота, заброшенность царит вокруг них. Овины, клетки и риги развалились, клочками торчит на одних растрепанная ночью вьюгой солома, другие наполовину растасканы на дрова; «крестьянский двор» сглаживается, пустеет и оголяет сиротливо стоящие без хозяйственных служб избы.

Прошли ее наши путники в конец – никого не видали, ни у дворов, ни из изб голосов не слышно, только старуха глухая у одних ворот стояла. На конце уже деревни старика заметили: он колот на дрова старую, изгрызанную и прогнившую колоду. Старик был высокий, сторбленный, сухой, с длинными, высохшими и цепкими руками; из-за большой седой бороды и подстриженных усов показывался беззубый рот; лысая голова изборождена была ямами и шишками; сморщившаяся кожа старческими глубокими складками, словно шрамами, покрывала щеки и лоб; из-под длинных клочковатых седых бровей смотрели слезящиеся, но умные и зоркие глаза. Дырявый полушубок едва держался на его костлявых пле-

чах; из-под него виднелась впалая, волосатая, тяжело, точно кузнечные мехи, подымавшаяся и ниспадавшая грудь.

– Видно, у вас, дедушка, без поселенцев деревня-то стоит? – спросили его присяжные. – Ты в досмотрщики, что ль, к пустым избам приставлен?

– Почитай что так, – неторопливо отвечал старик, вздохнув всею грудью, погладив ладонью лысину и надевая шапку. – Только нам, старым да грудным, и осталось... Ноне у нас вон где поселенье-то развеселое. Невесело в своих-то отцовских избах! – показал старик по направлению к фабрике.

– Где весело!.. Вишь, она, деревенька-то родная, как замухрилась...

– Замухряешь! Ноне мы за собой не смотрим... Ноне мы на купцов работники... А вы чьи будете?

– Мы пеньковские. В округу чередными пробираемся...

– Ну-у! Наших, поди, судить будете?

– Разве от вас кто есть?

– Еще как есть-то!.. Много от нас к суду идет.

– Что так?

– Народ от закона отбился... в тумане ходит. Мужья жен не знают, жены мужей покидали. Сватовства уже и не слыхано: сватов ровно из веков в заводе не было. Девки рожают без стыда, что бабы. Робят перемешали: не разберут, кой законный, кой нет. Недавно вот тут, на ильинки, баба родила, а муж-то и не признал. «Не мой, – говорит, – это машинный (фабричный, значит), из-под машины рожден...» – да в беспамятстве и об угол младенца! – отчетливо и не торопясь излагал старик пред присяжными народную уголовную летопись.

– Экие дела скорбные! – заметил Фомушка.

– Кои в прорубь таскают: из года в год как пить дают по утопленнику... Жена мужа лется, в троицу, яичницей с мышьяком накормила – это в селе Семенках. В Болтушках мужик, на покров, бабу зашиб, – вишь, с приказчиком заприметил. На капельника дядя Петр на вожжах повесился из-за невестки... Вот какое место греха народного насчитал я вам, старый!

– И ты все это, дед, помнишь? – удивлялся

Недоуздок точности, с которою высчитывал старик «несчастные случаи».

– Наказал господь памятью на такое дело! Сижу вот другой раз да и считаю: сколько за лето, сколько за зиму, сколько за тот год, сколько за другой господь за грехи несчастных дел на наши Палестины напускает... Все помню, как на ладони все это предо мной видится... Во младенчестве, должно, согрешил пред господом, что наказал он меня такою памятью... За всю мою жизнь все злое, недоброе, непутное, что только на кару господь за грехи нам, мужикам, посылает, – все вижу год в год, день в день...

– А как тебя звать, сверстничек? Чтобы неравно нам на судьбище, вспоминаячи тебя, страх божий не забыть! – спросил благочестиво Фомушка.

– Архип Сук. Суком, друг, меня прозывают... Плохо, братцы, дело в нашей Палестине! Судите строго-праведно, други мои! Может, и поослабнет грех-то...

– Всех бог рассудит! – оветили присяжные. – Спаси тебя господь...

– Вас спаси господи.

Старик побряхтел, посмотрел им вслед и снова начал раскалывать дубовую колоду.

– То-то здесь горе над людьми лютует! – далеко уже отойдя от деревеньки, заметил Лука Трофимыч.

– То ли уж народ глуп, то ли привык он на мамону чужую работать! – недоумевал как будто про себя Недоуздок.

– Поддержки народу нет, – порешил Фо-мушка, – что малый ребенок он... Как ты его осудишь?

Толковали присяжные, казалось, хладнокровно, а между тем личность Архипа Сука, этого безвестного статистика народного «греха и несчастья», подействовала сильно на них. С каждым шагом к округе, с каждой встречей все сильнее начинали они ощущать, хотя смутно, свою близость к этому народному «греху и несчастью», свою нравственную обязанность к нему. Так называемые «культурные» люди не могут иметь даже смутного ощущения этой близости. Для них народный «грех, несчастье» есть не более как «абстрактная идея» права (выражаясь их словами); для народа – это «боль человека с пло-

тью и кровью». Фомушка, вспоминая Архипа, думал, что ежели осудить человека «греха и несчастья», то как бы не перевысить меру господня наказания и как бы тому человеку больнее не стало, чем по совести следует. В то время как по понятиям одних «грех» начинается с момента преступного акта и требует наказания, – для крестьянина он уже сам по себе есть часть «кары и несчастья», начало взыскания карающего бога за одному ему ведомые, когда-то совершенные поступки.

IV

«Божий помещик»

Чем дальше подвигались присяжные по многоезжему торговому тракту, чем чаще попадались им на пути различные селения, тем чаще приходилось снимать шапки, раскланиваться с встречными и отвечать на одни и те же вопросы всегда любознательного относительно своего брата селянина.

– Чьи будете? – спрашивает селянин.

– Чередовые, – откликаются, проходя, присяжные.

И спрашивающий еще долго смотрит, засунув одну руку в карман полушубка, а другую за пазуху, вслед уходящим. Другие, не желая упустить случая чем-нибудь разогнать зимнюю скуку, подшучивали над присяжными.

– Эй, пешковые! – окликнули присяжных в водном селе, и вслед за этим, заложив руки в карманы, стали, не торопясь, подвигаться к ним три-четыре селянина. По их походке, по оклику присяжные хорошо знали, что почтенным селянам желательно «поточить зубы»;

– Доброго здоровья! – приветствовали поселяне, слегка приподнимая высокие, в форме шампанских пробок, шапки, которые любят носить ямщики, а за ними и все прочие обитатели почтовых трактов.

– Спасибо.

– Присяжные, что ли, будете?

– Они будем.

– Ну, братцы, палками бы нужно вам у нас запасться.

– Что так?

– Для вас тут у нас засада есть.

– Нас не обидят.

– Вас-то и обидят.
– Чего с нас взять... Разве шалят у вас?
– Шалит-то, братцы, у нас все один – Аника-воин. Помещик будет... Вот с самой «воли» как он всем нам войну объявил, даром что мы казенные были.

– С чего ж это он у вас?
– А вот как положение вышло... Барин он был хороший, легкий барин; мужики у него на оброке были. Машины все землепашные покупал; привезут, он соберет соседей, мужиков, начнет им показывать разные действия с машинами-то. И против воли не был: «Я, – говорит, – против мужицкой воли не стою, только всем зараз волю никак дать не можно: будет, пишут, буйство, грабеж». А тут прослышал, что всем воля, и сполуумствовал... Усадьбу свою – вам по дороге будет – принял-ся тыном обносить, ворот наделал, застав на-строил и объезды стал делать. Ребятишек нарочно нанял, старых лакеев, да верхами, с оружием, что твои казаки, и рыщут вокруг усадьбы... Наряд себе такой приспособил: кафтанчик опушенный, с красными кармашками, шапку-черкеску, через плечо ружье, саб-

лю, пистолетик... Чудесно.

– Для чего же нам палки-то брать?

– Чего, братцы, шутит-шутит, да инно, как очень разгорится, и до беды доведет... Скотину около рощи настигнут – загонят; баб али девок с грибами, с ягодами заприметят – всех по амбарам позапирают; на мужиков, где около своего тына наедут, – сейчас обыск; трубки найдут, спички, топоры, ножи – все отберут, а потом все это и посылает к мировому целым этапом, при бумаге, как бы с личным: спички – это у него поджог, грибы – это захват. Только ни мировой, ни исправник ему не верят. Уговаривали было да так и бросили: умрет-де скоро...

– Ну, а мы-то что же в вашей войне, причем?

– А это, почтенные, вот какое дело. Сын у него, барчонок, в городе обучался, только, должно, скучно стало. Приехал и говорит: «Я, – говорит, – тятенька, не хочу учиться, довольно учен – все понимаю; я в аблакаты пойду...» – «Это помещик-то! – крикнул отец, – с купцами якшаться?.. Нет тебе ни моего благословения, ни денег! Ступай!» Ну, сынок сей-

час себе шапку с красным околышем купил да и пошел по торговым селам с купцами чертить... Вскорости фальшивых бумаг на купцов наделал... Тут его под присяжный суд – да в Сибирь... Инда взревел отец-то: «Это, – говорит, – моего-то сына мои же мужики судили!» Так вот с тех пор вам с ним и опасно встречаться... Мы еще туда-сюда с ним, ну, а вы...

– Ничего. Нам этот воин не страшен, – сказали пеньковцы, расставаясь с поселянами.

Едва прошли путники две версты, как стала показываться вблизи дороги усадьба, с огороженными полями, с тыном из заостренных здоровых кольев около двора, с разными шлагбаумами, вереями, мачтами. На крыше дома подымался гигантский флюгер в образе русского петуха с выщипанными перьями; петух этот лениво повертывался на шпиге и визжал самым жалобным образом. За тыном слышалась тревога; раздавались голоса. Кто-то суетился неимоверно и выкрикивал всеми легкими: «Палашка, замыкай! По местам! Заставы за-апри-и!.. Сергей!.. На пункты!.. Флоров!.. Отпусти!.. Есаул Клоп!.. Снаряжай!..»

– Папа, папа! – прерывал торопливую ко-

манду свежий, звучный, подхватываемый ветром женский голос. – Да куда вы?.. Где вы волков видите?

– Вижу, матушка, вижу... Отлично вижу...

– Да что вы видите?.. И нет никаких во-
все...

– Вижу, Раичка, вижу... ступай в комнату, душенька, – настудишься. За мной! – скомандовал вдруг кто-то.

– Ах, боже мой! Папа! Оставьте!

Ворота растворились. На рыжей высокой английской кляче выехал, бодрясь, седенький помещик, в черкесском костюме; за ним два старика в полушубках с прорванной шкурой и дырявых валеных сапогах – тоже верхами. Один держал на своре пару страшно худых собак. Два мальчонка, путаясь в глубоком снеге, бежали «на пункты».

– Стой в седле! Подсматривай! – скомандовал седенький старичок в черкеске и сам, гарцуя, поскакал за путниками и стал описывать около них круги, увязая в сугробах и геройски выскакивая из них. Чистокровная английская кляча пыхтела, фыркала и начинала пускать пар под усердным седоком. Пеньковцы про-

должали идти молча. Пропустив их несколько за усадьбу, помещик круто повернул к своему шлагбауму.

– Вон он! Вон, батюшка, серый! – крикнул один из рыцарей в валеных сапогах, с длинною седою бородой. – Доезжайте его, сударь!

– Воззришь! – закричал седенький помещик. – Спускай в мою голову! Атту его-го-го-о-о!

И за этим раздался выстрел на воздух.

Собаки бросились за волком, которого они не видали; пробежав несколько сажен, они сочли за благо остановиться и подняли вой. Пеньковцы испуганно обернулись и невдалеке от себя увидели седого Дон Кихота, схватившегося обеими руками за живот.

– Ха-ха-ха! – надрывался он от добродушного хохота, кашляя и захлебываясь и обратив к ним свое раскрасневшееся маленькое лицо, по которому текли из помутившихся глаз непослушные слезы. – Оша-але-е-ели, милые!.. Я ва-ас!.. Ха-ха-ха! – ребячески восторженно выкрикивал он, грозясь своим маленьким кулачком.

– Божьим помещиком стал барин-то! – по-

смеивались присяжные, ступая по сугробистой дороге и вслушиваясь в долетавший за ними по ветру неудержимый старческий смех.

V

Проходимцы

Между тем погода начинала снова разыгрываться; вьюга, ослабевшая немного, поднялась с удвоенною силой; сбоку надвигался сумрак; снег повалил хлопьями. То сзади, то с боков вдруг налетит облако снега, облощет кругом, и дальше нельзя ступить шагу; захватывает дух, ноги заплетаются и тонут.

– Ну, братцы, божья воля, а нужно куда ни то укрыться. Только понапрасну изморимся, – говорили путники.

– Где укроешься!

– А вон, вишь, будто темнеет что в стороне... И собаки, слышно, лают.

Ветер рванул, порывисто пронесся с снежным облаком в сторону и вдруг стих. Путники могли разобрать в стороне дороги строения. Они повернули к ним уже прямоком, через

сугробы, ощупью стали пробираться к воротам; ветер и снег заволокли снова все. Присяжные стукнули в калитку. Неистовый лай и вой здоровых псов ответил им, но никто не выходил. Они стукнули сильнее, – сильнее заливались собаки. Долго пришлось слушать присяжным этот лай и вой, сопровождаемый свистом и визгом ветра; около них образовался сугроб; ноги коченели.

Наконец раздался за воротами здоровый горластый женский оклик, относимый ветром то в одну, то в другую сторону.

– Вы, что ли, это, Парамон Петрович? – спрашивал голос, силясь перекричать и собак, и вьюгу. – И не ходите лучше! Запили, бабушка, у нас... Говорит: лучше мне этот аблакат в экий час на глаза не показывайся, – за себя не отвечаю.

– Мы бы укрыться, хозяйка, укрыться-я! – насколько возможно подняв голоса, в пятый раз крикнули присяжные.

– Кто такие еще?

– Прохожие, милая... В округу пробираемся.

– Нету, нету... Проходите. Здесь ноне не пу-

цают. Купцы живут. Купцы поселились.

– Переобуться бы только нам.

– Да кто такие?

– Чередные мы. Присяжные будем.

– Ахти, батюшки! Да мы сами от судов в этих пустынях отсиживаемся. Сами с этими присяжными в беду попали. Из города нарочно в тишину укрылись... Что?

– Ваше дело, родная, ваше дело.

– Нету, нету. Проходите. У нас этих заведений нет. Мы келейно живем... купцы мы. А вот тут недалеко помещики живут, подальше. Аблакаты, по вашей части будут...

Присяжные молча стали выбираться опять на дорогу, а горластый голос, словно разрываемый ветром, еще невнятно, клочками доносился до них вместе с непрерывавшим собачьим лаем.

Скоро показалось и еще строение. На самом юру торчал новенький пятиоконный домик, без всякого признака хозяйственных служб, как будто он исключительно построен для наблюдений над открытыми для него со всех сторон окрестностями. Ветер угрожающе то насыпал вокруг него груды снега, то вновь

разбрасывал их и ходуном охаживал его со всех сторон.

На стук присяжных полуотворилась калитка, и показалась седая, развеваемая ветром борода, прикрывавшая открытую, впалую, медно-красную грудь.

– Ах, болезные, – проговорил старик, – эк неволя-то вас гонит в экую пору. По делам, что ли, к нашему-то? Переждали бы хоть метелицу-то!

– Нету, дедушка. Укрыться бы нам. Путники мы. В округу пробираемся.

– О? Экое дело! Уж и не знаю. Входите, може, пустит наш-то. Временем он ничего...

Присяжные несмело вошли за стариком в холодную переднюю и остановились в дверях, переминаясь на одном месте. Скоро через сени, с другой половины, вошел средних лет мужчина с растрепанными, с проседью, баками, кудрявившимися на красных вздувшихся щеках, как будто он постоянно держал за ними по куску пирога; маленькие глазки, с загноившимися ресницами и подпухшими веками, хотя и слезились, но старались метать серьезные взгляды. Он был в потасканном та-

тарском халате, подпоясанном старою подтяжкой, с трубкой в руках.

– По какому делу? – спросил он. – Ведь я объявил по волостным правлениям, что по понедельникам ходатайств не принимаю.

– Мы, ваше бл-дие, нездешние.

– Все равно... Я всем готов служить своим... – хозяин задумался, затянулся и выпустил вместе с дымом:– юридическим образованием.

– Мы, батюшка, как по-христиански... Укрыться просились... Так вот старичок-то позволил. Думаем, идти в экую божью волю – как бы греха не случилось...

– Ну, это другое дело. Грейтесь, грейтесь. Я не прячусь ото всех, как вон эта шельма-купчина. Бочонок! Сорокоуша! Засел за псами и сидит, никого не пускает. Не пустил ведь?

– Не пускает, батюшка...

– Ну, я знаю... Подлец! Дать доверенность – и вдруг: «Не принимаю». Рюмки водки шельме жалко... адвокату своему! Чьи будете?

Присяжные сказали.

– Присяжные? Каково! – удивился поме-

щик и быстро ушел на другую половину, однако ж скоро вернулся, но уже закусывая что-то соленым огурцом. Присяжные все еще боялись расположиться как нужно.

– Переобуться позвольте, ваше бл-дие.

– Переобуться? Можно, можно! – говорил он равнодушно, прожевывая огурец. – А повестки есть?

– При нас.

– Покажи.

Он протянул руку. Лука Трофимыч засуетился, полез за пазуху и, отвернувшись в сторону, вытащил из кожаного мешка повестки.

– Хорошо, хорошо... Вижу, что в порядке.

Помещик стоял посреди комнаты, попыхи-вал в трубку и хладнокровно обводил их глазами. Присяжные стали разуваться. Помещик растопырил ноги и поместился против них.

– Гм... обору! – говорил помещик, попыхи-вая из трубки.

Мужики снимали лапти и сапоги.

– Гм... лапти! – продолжал он.

Мужики разворачивали тряпки.

– Гм... онучи.

Мужикам становилось неловко. Но поме-

щик вдруг повернулся и снова скрылся за сенцы.

– А он, нужно так полагать, прожженный! Он в лаптях-то наших теперь, может, хлеб себе усматривает.

– Чего дивить! И в лаптях, братцы, они, эти ходоки-то, корм себе провидят.

Присяжные, распоясавшись, сидели, забившись в угол, и, поворотившись к стене, закусывали.

Вошел старик, отворявший им калитку, седой, в больших валеных белых сапогах и рваном полушубке; кряхтя и сгорбившись, уселся он около двери, на краешек скамьи, держась за нее старческими трясущимися руками.

– Чьи, старичок, будете с хозяином-то? – спросили присяжные.

– Проходимцы, – сердито отвечал старик.

– Звание хорошее, – заметил Недоуздок. – Прыток он очень!

– Кто ноне не прыток! Нас, дураков, много. Насулят всего и званиев разных пожалуют, только горбы подставляй... Горбы-то у нас здоровые. Прыгай да прыгай, осаживайся, как тебе будет лучше... Мы готовы завсегда – по-

везем...

– А как он у вас прозывается?

– Парамошкой прозывают... По шерсти и кличка.

– Ничего, ласково прозван.

– Он не обидчив. Вот купца-соседа (благотриятель нашему-то) и хуже прозвали, да ничего. Даже доволен.

– За что ж это их?

– А за хорошие дела. Мало им стало у мужиков хлеб на корню скупать, так они кабачков настроили, а около больших волостей да фабрик притончики веселые завели... Восемьдесят лет прожил, а в таких притонах в нашей стороне никто не нуждался.

Речь старика прервал пришедший гость.

– Пути сообщения... нну! «Пожалуйста в гласные...» Да как же тут, когда ежели на мосту зимой провалился?.. Одна лошаденка – и та ногу повредила! – говорил в волнении, скидая с себя овчинную шубу, отряхаясь, отплевываясь, отфыркиваясь, снимая с бороды сосульки, низенький, толстенький, пузатенький человек, в длинном кафтане, подпоясанном широким поясом, и в шапке с длинными

ушами. – Парамон Петрович у себя?

– Обедает.

– Ну, ладно... А ты что ж, братец, сидишь?.. Л еще старик, умирать собираешься! Нет что-бы пойти да посмотреть: как, мол, он приехал, где у него лошадь-то? Нет, в вас этого послушания не ищи... На-ка, поди прикрой ее кошмой...

Старик ворча вышел, а приезжий не переставал суетиться; ходил он по комнате скоро, вприпрыжку, бегал глазами с предмета на предмет, морщился, гримасничал и то и дело что-нибудь переворачивал, перекладывал, рылся за пазухой.

– Умирать пора, в гроб смотрит, а об церкви не подумает. Заржавела душа-то... 0-ох, господи! Не бойсь, это не купцы!.. Чего? А вы кто будете? Чьи? – спрашивал он присяжных как будто мимоходом, всецело занятый тем, что у него в длинных больших карманах и за пазухой.

– Присяжные мы.

– Что ж не кланяетесь? Отвалятся головы-то?.. Забывать стали? Гордыня обуяла?..

– Да ведь мы... признаться... как узна-

есть? – сказали, подымаясь, присяжные.

– По одеждам видно, что не мужик... Костюм на что-нибудь дан! Много в вас этой своеобразности... Вы бы вот с господ купцов примеры-то брали: как они – с уважением, благочестием, доброхотством... Даром, что капиталы имеют... Зато и награждены... А вы что? Лапотники, а смирения ни на грош!.. Чего?

– Просим, мол, извинить, – проговорил Недоуздок. – Не всмотрелись сразу...

– То-то! Присяжные! А что такое присяга? А? А ежели церковнослужитель навозу на поле повозить попросит, так двери на запор, оглобли воротить? Чего? А как восьмая заповедь читается?

– Мы, батюшка, по пальцам-то не происходили... Учил это нас, признаться, писарь, да думали, чего, мол, тут по пальцам-то высчитывать!

– Все вы такие... У вас учителя-то без сапог ходят, сами навоз возят... Чего? А где об церкви радение? К духовному сану почтение? Сначала бы вот об этом... Были ли на духу-то? Вот бы что заставлять нужно... «Увещавайте! На

то вы и учителя!» Легко говорить! А где поддержка?

– А! Это вы, Кузьма Демьяныч Бессребренник! – прожевывая остаток обеда, приветствовал приезжего помещик. – Должно быть, дело не хвали... А?... Ежели в эдакое время не позадумались навестить...

– Душа-с скорбит, Парамон Петрович! Вот все с ихнею братией... Житья нет нынче... Просто звери стали!

– Они нынче судьи... Ну, что? Идете? – обратился Парамоша к присяжным. – Пора, пора... Отдохнули, обогрелись у меня...

– Много благодарствуем... Отошли будто немного...

– То-то... Добрых людей не забывают... Помещик Парамон Петрович Перчиков – всякий знает! Дел не будет ли? О разделах, о побитии...

– Будем помнить.

– У односельцев не будет ли? Посылайте... Вот, мол, по дороге в округу... На самом, мол, пути адвокат живет, Перчиков... К нему, мол, толкнитесь...

– Уважительный барин! – прибавил Бес-

сребренник, доставая из мешка за ногу замороженного поросенка.

– Душа, мол, человек... И недорого берет, как по крестьянству сподручнее... Даже под расписку... Берет зерном, крупой...

– Слушаем-с, – отвечал степенно и «обстоятельно» Лука Трофимыч.

– Яйца, кур, гусей...

– Слушаем-с.

– Поросят... Все, мол, берет... Потому – хозяйством заводится...

– А каков поросенок-то, Парамон Петрович! Словно малый овен, – крикнул Бессребренник, тютюшкая и подкидывая на руках поросенка. – Где тетенька-с?.. Деревенский го-стинчик...

Присяжные вышли из усадьбы помещика Парамоши и стали пробираться через глубокие сугробы к трактовой путине.

VI

Лесная сила

Лес показался; сначала по обе стороны шла порубь, едва теперь заметная по выскочившим кое-где из-под общего снегового покрова пням да сосновым, редко разбросанным подросткам, уныло согнувшимся под напором разгульного ветра. В лесу погода стихла. Вековые сосны непроглядною и мощно-угрюмою стеной стали на пути вьюги, и она, бессильно злясь и негодуя, только изредка ворвется в просеку, просвистит с одного конца до другого, тряхнет побелевшую лесную шапку и снова стихнет. Мирно стоят гиганты-деревья, опустив вниз свои отяжелевшие от снега ветви. И какая несметная рать стоит здесь этих гигантов и угрюмо ждет, когда придет какая-то сила, повалит их и уложит в стройные ряды поленниц. А уж эта сила пришла: то с одной, то с другой стороны мелькают широкие подсеки, или усеянные выкорчеванными громадными корнями, или уставленные правильными кубами напилен-

ных дров, бревен, досок... На небольших луговинах, защищенных гигантскою стеной от злой непогоды, молодая поросль и подростки прячутся от лютых морозов под толстою, мягкою шубой снега и рассыпаются кучками белоснежных пирамидок. Тихо. В лесу всякий звук слышится чутче; птица шарахнулась о сучок, осыпала с него снег, крикнула и, взмахнув крыльями, пронеслась вверх; зверь где-то захрустел по бурелому; вбок от дороги, к поруби, прошел волчий след.

– Стой, братцы! – сказал, приостановившись, Недоуздок.

Присяжные разом остановились.

– Чего пугаешь? И так жутко.

– Слышь: голосит!

– Это леший.

– Какой тут леший? И вся баба заливается.

Присяжные сбились в кучу.

– Ай то, братцы... Уйдем от греха, – продолжал Бычков. – Далеко где-то. Место совсем пустое!

Ветер явственно донес плач.

– Где далеко? Совсем близко. Нам бы грех, братцы, на такое дело идучи, от горя бежать, –

заметил Фомушка.

– Где ты его, это горе-то, здесь по лесу отыщешь? Вишь вон, то здесь оно огласит себя, то с другого боку... Как ты его по такому месту настигнешь? – сомневался Лука.

Но вдруг вопль раздался сзади них; все обернулись. Из лесу выходил высокий, в нагольном тулупе, опоясанном широким ремнем, в больших валеных сапогах, в мохнатой шапке лесник, у которого видны были только большие замерзлые усы да сросшиеся длинноволосые, выступавшие из-под шапки брови. Он держал в одной руке дубину, другою вел под уздцы лошаденку, запряженную в дровни. За дровнями шла баба, неся в руках топор, и навзрыд причитывала. В дровнях лежал связанный кушаком мужик.

– Что за люди? Чего нужно в экую пору в лесу? – окликнул присяжных полесовщик таким окриком, что и сам лес будто дрогнул вместе с присяжными.

– Мы, почтенный, своею дорогой.

– А куда путь? – спросил он, останавливаясь против них и вытирая замерзлые усы. – Экая погодка!..

– В округу... в черед. – О!

Лесник прислонил к лошади дубину, скинул рукавицы и стал набивать трубку, вытащив из-за пазухи кисет.

– Вишь ты, тетка, какое твоему-то счастье! – обратился он к бабе. – Не успел украсть, а уж на судей напал. Другие по годам экое счастье в острогах ждут... Моли бога.

– Зверь ты, Федос, зверь стал! – завывала баба.

В дровнях застонал мужик; собачонка лесника, присевшая у края дороги, подняв озябшую лапу, подвыла им обоим.

– Должно, впервой? – спросили присяжные.

– Впервой. Не бывал еще в переделах-то. Что заяц косой – сам на ружье лезет... Должно, холодно им с бабой стало, погреться захотели... Так что ж, чередные! Судите, что ли, нас с ним... Ха-ха-ха! Судейщики! – предлагал лесник, раскуривая трубку.

– А мы, дядя Федос, пожалуй бы, и рассудили, – сказал Недоуздок.

– Вишь ты! Ну-ко как?.. Суди, суди!..

– Да оправить бы мужика надо... Вон она,

зима-то, какая... В кулак-то не надышишься... А ты ему ребра-то, должно, знатно пощупал.

– Ничего. На медведя ходил.

– Приметно... Так уж, кажись бы, и довольно.

– Ха-ха! Вишь ты... И в самом деле судейщики!.. А ты думаешь, вам за это спасибо скажут... а? Поблажникам-то?

– За спасибо-то не угоняешься... А ты вот что подумай, – заговорил Фомушка, – добро-то тебе здесь, по лесной жизни, не часто, чай, делать приводится? А нам на старости наших лет с тобой, в гроб-то смотрячи, добро-то бы не след упускать... И так от него, от лесу-то, душа черствеет, так не дело бы тебе еще на себя зверское-то обличив напущать...

– Поблажники и есть... Свой брат!

– Ну, скажи-ка ты нам, судьям, как – мы его осудим, обличие-то твое вспоминаючи, строгий воин?.. Нну? – наступал на него Фомушка.

– Мы в это не входим.

– Ежели ты не входишь, так ты хошь образ-то зверский сокрой. Да сходи ты в божью церковь, – все грознее говорил Фомушка, – да возьми ты к себе в хижину-то ребячью душу,

каких много по нашим мостам сиротливыми бродит. Она, душа-то ребячья, сведет с тебя узоры-то зверские, что мягкий воск растает сердце твое от нее... Верь, по себе знаю! Был и я лесником. Обнял это меня лес, охватил, не вынесла Душа, руки хотел на себя наложить... И случись тут старуха странная; говорит, возьми, Фома, младенца на вскармлиенье, – лес над тобою силу потеряет, тоска у тебя с души сойдет, от ребячьего глаза рукой твою тугу снимет... Сиротинка у нас на селе был, – взял...

– погоди, старик! – прервал Фомушку лесник. – Есть и у меня, есть... Твое слово в руку: взял я ноне Федорку свою на колени, а она, глупая, мне: «Тятка, – говорит, – ты страшный... Боюсь я тебя... У тебя борода колючая отросла, а брови ровно осока торчат...» – «Ах ты, глупыш, – говорю, – да ведь у тебя тятка-то кто? Солдат тятка-то?.. Так разве можно ему другому быть?.. Ведь его двадцать пять лет в этом звании производили! А? Видал ли нашивки-то?.. Двадцать пять лет к этому-то обличию приспособляли! Зато он и лесник! Вишь, ему какую махину на охрану вверили!

Глупыш ты, – говорю, – неразумный...» – «Нет, – говорит, – ты ровно лесовик стал.. Молчишь нынче все: мало говоришь, сказки говорить разучился... Боязно мне с тобой! В деревню убегу!» – «Ах ты, – говорю, – порченный! Вишь, что сказал: лесовик!.. Тятка-то? Вот я тебя лозой!» Дал ей шлепка, думаю: бабы наболтали девчонке! А вот и ты, старый, не умнее Федорки моей сказываешь!

– Верь, милый человек, верь! Может, у тебя и сойдет с лица узор-то звериный... И улыбнется на тебя младенец...

– Али больно уж я на зверя-то смахиваю? – спросил старый солдат, дрогнув левым усом и бровями и силясь улыбнуться.

– Недолго, друг, оно, – продолжал убеждать Фомушка, заприметив, что по лицу солдата прошла какая-то дрожь. – Лес-то – он ведь сила, он человеком скорее обладает, чем ты им. По себе знаю. Большая в нем сила! И стоит она, эта нечисть, и досматривает, как бы душу христианскую от доброго дела отвести...

Фомушка так и впился своими слезящимися маленькими глазками в «обличив» лесника. Лесник снял шапку и рукавицу и стал че-

сать затылок.

– Х-ха-ха! – разразился он на весь лес, который с разных сторон отозвался грохотом на его хохот. – Зверское обличив, слышь, у человека стало! Полгода не прошло! Ай да Федор-ка! Надаю я тебе шелепов вдоволь, порченная! Сними-ка с своего кушак-то! – обратился он к бабе.

Баба опять зарыдала и, припав к лежавшему мужику, стала развязывать дрожащими руками кушак.

– Ну, ступайте своею дорогой! – сурово прикрикнул лесник присяжным. – Судите там, кто пойман. А уж этого рассудили...

– Это, милый, не наш суд, – твоя душа судила! – ответил Фомушка.

VII

Блаженненький

Верстах в трех за лесом раскинулось нако-
нец пред присяжными длинное, вытянув-
шееся по обе стороны трактовой путины село
Проскино с двумя церквами, одною камен-
ной, другою деревянной, – последний пере-
ход, последняя станция до города, до «окру-
ги». Фомушка еще раньше говорил, что его
знобит и что нужно бы в Проскине зайти в
кабак и выпить. Выпить захотелось и всем по
шкалику. Думали и рассуждали об этом дол-
го; наконец порешили купить полуштоф. Ка-
бак был рядом с почтовой станцией, около
которой возились ямщики за кибиткой. На
крыльце станционной избы стоял в лисьей
шубе молодой краснощекий купец и грыз,
держа в пригоршне, орехи. Проскинские му-
жики от нечего делать терлись у крыльца и
смотрели то на ямщиков, то на купца. Некото-
рые из них подходили полюбезничать с ло-
шадьми.

– Тпрру... Ну... Тпрру, милая... Ну, что, что?

Хо-хо-хо! – разговаривал с одною лошадьё мужик, дергая ее за холку и поглаживая ей морду, которой она старалась ткнуть ему в бороду.

В кабаке было тесно: присяжные, один по одному, выпивали, а закусывать выходили на волю; проскинские мужики заводили с ними разговоры неизбежным вопросом: «Чьи будете?»

Из станционной избы вышла молодая купчиха, полная, с лицом-пышкой, укутанная в ковровую шаль и куний салоп.

– Ты что? – спросил купец.

– Взопрела... Задохнулась совсем.

– Садись здесь.

Купчиха села на скамью, а купец достал ей в пригоршню из кармана орехов. Ямщики о чем-то переругивались. Откуда-то вдруг раздался страшный выкрик.

Мужики стали осматриваться.

– А-ах, чтоб его! Антипка-кокун из-под караула у старухи убег!

– Иго-го-го! Ко-окку-у! – выкрикивал хохлатый, нечесаный, низенький мужичок, трусцой подбегая к станции.

Он был в одной рубаше и портах, грудь открыта, ноги босые. Через шею, словно регалии, висели на веревке лапти.

– Антипка-шут, – пристали к нему мужики, – представь вот его степенству... Сыграй!

– Енарала представь, Антипушка!

– Как тебя судили? Ну-козь! Вот и судья здесь... Сам присяжный... Гли, – говорили ямщики.

Антипка безумно водил глазами, потом начал что-то бормотать и вертеться на месте.

– Дурак будет? – спросил купец.

– Блаженненький, – ответили мужики.

– Вы бы, ваше степенство, подоброхотствовали, – заговорили умильно мужики.

– Чего еще?

– Пожаловали бы на прокормление. Ноне такое положение.

– Какое положение?

– А подавать-то им, – показали мужики на Ан-типа.

– Не знаю. Кому?

– Он, ваше степенство, с суда такой... Помешавшись... Судили его: он там на суде и повихнулся. Испужался очень.

– Робкий всегда был крестьянин, – подтвердили ямщики.

– Соболаговолите, ваше степенство! Он вам комедь сыграет. Тогда ему присяжные в округе рублей десять собрали, – сладкими голосами убеждали мужики купца, некоторые даже шапки сняли.

– Дать, что ли? – спросил купец жену.

– Много их! Этот юродивый не из настоящих – представляется.

– Говорят, присяжные дают. Нам нельзя.

– Дай семитку.

– Прими, – сказал купец, протягивая монету, снял шапку, перекрестился и поправил волосы.

– Антипка, примай! Вишь, его степенство жалует... У-у, глупый, не понимает! – говорили мужики, передавая ему семитку.

– За что судили? – спросил купец.

– За что? Да как бы сказать? Точно что будто как мы тут греха на душу маненько взяли, – замялись мужики. – Он, вот видишь, работал прежде у купца; купец этот за его подати вносил, избу справил ему, и позадолжал ему Антипка. Ну, купец думает: пуцай рабо-

тает. А Антипка-то и убеги от него: очень уж он над ним, купец-то, издевку большую стал позволять. «Ему, – говорил Антипка, – что больше служишь, то больше должнаешь!» Убег, а купец к нам в общество жаловаться.

– Ну?

– Мы, признаться, постегали Антипку тогда и приговорили, чтоб ему опять идти к купцу в услуженье. Говорил тогда Антипка: «Братцы, – говорит, – что вы делаете? Он мне душу по гроб контрактом опутает, что петлей; с каждым годом он меня туже да туже окручивает! В город он меня вести хочет, чтоб там я в суде за печатью за ним навек приписался. Лучше ж я ему хоть вдвое на стороне отработаю, а в контракт, что в хомут, голову класть не стану». Ну, мы и еще постегали малость за упрямство.

Подошли и наши присяжные к крыльцу и стали вслушиваться.

– Ну, а он у купца-то лошадь и утони, в городе и продай, чтоб только откупиться от него чем. Там и взяли. А на суде-то, глупый, и помешался: думал, что его в крепость хотят к купцу приписать... Робкий!..

– Ну и что ж, оправдали? – спросил купец.
– Чего его оправдывать? Его бог оправдал.
«Бог оправдал! – повторил про себя Фомушка. – Им одним еще и правда на земле крепка!» – думал он, вспоминая Архипа Сука.

– А вот эти тоже с вами, мужички-то пешеходные! – показали ямщики купцу на присяжных. – Только им, должно, за вашим степенством не угнаться. Вы все торопите: проворней да проворней, а то штраф возьмут... А вот они пешком... Неужели ж скорей нас приедут на липовой-то машине?

– Да кто это?

– Чередные... Присяжные... Вместе судить будете.

– Мы купеческого звания.

– Ноне все одно, что пеший, что на троечке, – все на одной скамеечке сидят!

– Нет, мы в отдельности должны. Слышишь, – обратился купец к жене, – мы полагаем сами по себе, своим разумом судить, а нас с лапотниками сажают. Это все неправда, я так полагаю.

Антипка опять запел кукушкой.

– Ну, Антипка, потешь! – начали приста-

вать мужики. – Може, его степенство еще пожалует. Сыграй нам суд, как тебя в крепостные хотели опять обернуть. Вишь, вот здесь все судьи собрались.

– Спроси, может, пророчествует? – посоветовала купчиха мужу.

В это время подбежала к станции маленькая, сморщенная и горбатенькая старушка в черном с белыми горошинками платье, в накинута на плече зипуне; грозно сверкнула она глазами на мужиков, причем сухие губы ее беззвучно шевелились и подергивались, а острый подбородок трепетал; молча схватила Антипку за руку и, таща за собой, почти бегом пустилась с ним вдоль улицы на противоположный конец села. Антипка загоготал во все горло.

– Это кто будет? – осведомился купец.

– Сестра... Тоже будто маленько и с ней по-приттчилось... Ведьма ведьмой стала, никому голосу не подает, ни с кем с того раза слова не говорит.

– Так все и молчит?

– Все и молчит. У нас часто бывают эдакие молчальники из стариков: молчат год-два,

смотря как по обещанью, потом опять заговорят.

– С чего ж они... С обиды?

– Богу служат!

– Двое их только... Семьи-то у кукушки?

– Двое. Так и живут теперь в келийке безгрешно на конце... Любит его старуха-то сестра: в праздник вымоет, вычешет, рубаху красную наденет, шаровары плисовые (целую зиму нитки сучила – на то и купила; работающая старушка, – у нее всегда все в довольстве), в церковь сводит, по знакомым которым вместе ходят... Только беда, ежели увидит, что над ним потешаются.

– Чем же они живут? Собирают у вас?

– Нет; кое-что, сказываем, робит старуха-то, а то и собирают. Только от нас никак не принимает. По стороне ходит.

Присяжные послушали и пошли снова в путь. Проходили мимо последней избы, «келийки». Вдруг из нее выбежала та же старушка в платке горошком, поддерживая что-то в переднике, и молча стала оделять присяжных ржаными лепешками.

– Да за что это, кормилка? Не надо нам...

Господь с тобой! Самой пригодятся, – сказали присяжные.

Старушка замотала головой и повалилась им в ноги.

– Ну, ну... Не гневайся, милая. Мы твоим добром не гнушаемся. Спаси тебя, господи, скорбную!

Все присяжные сняли шапки, перекрестились и вышли из села.

– Ко-окку-у! Ко-окку-у! Иго-го! – раздавались им вслед из келийки безумные выкрики Антипки.

Они уныло вслушивались в них, удаляясь все дальше и дальше от села, пока ветер перестал доносить до них эти дикие, прерывистые звуки и пока, наконец, они замерли совсем.

– Дело наше, милые, ответное пред богом и людьми! Как восковая свеча пред образом – вот оно какое! – проговорил Фомушка после долгого молчания и еще раз перекрестился.

Ему не отвечали – то ли от усталости, то ли от чего другого. Но только в эту минуту, может быть, более чем когда-нибудь, все присяжные чувствовали свою близость к «народному греху и несчастью», сознавали нрав-

ственную обязанность пред ним и думали од-
ною думой с Фомушкой.

Глава вторая

Первое знакомство с новыми правами

I

Пеньковцы приспособляются

Поздно к вечеру присяжные входили в губернский город.

Долго шли они по длинной Московской улице, освещенной изредка мигавшими фонарями, отбиваясь от бросавшихся под ноги собак; наконец подошли к площади с собором и присутственными местами.

– Это она, что ли, Лука, округа-то? – спросили присяжные и, сняв шапки, стали креститься на собор.

– Она самая. Вот тут, братцы, горя-то нам кажут... Тут их насмотрите.

– Насмотримся... Вишь, в какие хоромы засадят!

– На старое место нас, что ли, поведешь?

– Знамо. Все ж по знакомству безопасней.

Присяжные прошли на другой конец города и остановились среди Ямской слободы у постоянного двора.

– Сюда, молодцы, сюда пожалуйста! – зазывал их с крыльца постоянного двора мужик с фонарем. – Господа присяжные? Ну... сюда... здесь стояли... Это уж всем известно – наш двор для господ присяжных.

– Будто как не тот хозяин-то, – сомневался Лука.

– Как не тот? Что ты, голубчик! Господь с тобой! Что со мной поделалось! Ты вот завтра посмотри-ко, посветлее будет, – он самый...

– Завертывать, что ли, ребята?

– Мотри, не налететь бы... Четырнадцать ден ведь жить-то... – опасались путники.

– Завертывай, завертывай без сумленья! Тут обману нет! Эх, почтенные, на стуже-то стоять! А тут теплынь, покой – парься! – соблазнял дворник. – У нас все для вас как есть и приспособлено: нары, полати... Мы, кроме господ присяжных, редко пускаем... На той половине у нас трактирчик, – господа абвакаты пристают...

– А как пища?

– Что пища? Пищей мы господ присяжных не обижаем: хлебово, крупняник... ну, картофель можно... Квас тоже, чай, пить будете... Мы для вас, господа, скидку даже делаем... Пожалуйста!

Присяжные не решались. Лука всматривался вдоль улицы, не признает ли где прежнего места, но было темно.

– Эй, господа присяжные!.. Куда же вы?

– Нам бы вот хотелось своих тут поискать... Шабринских...

– Да помилуйте... Что ж вы не сказали? Шабринские? Здесь они-с... у нас... Где же им больше быть! По городу и местов больше для господ присяжных нет. Пожалуйста.

– Ну, завертывай, Лука... К месту скорей бы... Изустал и так – беда! – порешил Фомушка.

– И то. Не покажется – переменим. Ведь не на цепь прикуют.

Дворник с фонарем повел их в избу. Они вошли в длинную, просторную комнату, по стенам которой действительно тянулись нары. Дворник, вынув из фонаря огарок, воткнул его в бутылку и полуосветил черные

стены, кое-где обклеенные старыми газетами. Два человека спали, закутавшись, по углам нар; кто-то возился на полатах. В заднем углу стояла широкая изразцовая печь; на изразцах глазурью были наведены невозможные китайцы в широкополых шляпах. Вообще в комнате было пусто, сыро и прохладно. Но присяжным показалось хорошо.

– Ужинать, может, будете? – спросил дворник.

– Нету. Рады, что до места добрались.

– Так, так. У нас покойно. Вдохнете. Изда-
леча?

– Дальние. Из-под Горок.

– Да, да. Не близко. Может, пить захотите?

– Оно бы хорошо, кабы кваску хлебнуть, – мы бы с лепешкой прихлебнули. В горлах пересохло!

– Пересохнет. Разбирайтесь... Места у нас вдоволь.

Присяжные огляделись: просторно, как будто тепло. Им еще не верится, что не дует ветер и не саднит лицо, не вязнут более и не скользят застывшие ноги.

– Ах, важно, – подхватил Недоуздок. – Шиб-

ко натрудили себя. Теперь дубинкой меня не разбудишь.

Ему весело подкрякивали и подкашливали прочие.

– А что-то шабринских не видать.

– Може, на полатах.

– Где на полатах! Они бы сказались.

Вошел хозяин с большим деревянным поставцом квасу.

– А где ж наши-то, говорил ты, почтенный?

– А они вот рядом... Помилуйте! У нас без обмана... Вот рядом... Спят, поди! Завтра свидитесь чудесно. Будьте покойны.

– Так, так... А печку-то, хозяин, должно, выдуло. А нам посушиться требуется, – осторожно поглаживая широкою ладонью по изразцам с китайцами, заметил Недоуздок.

– Печка-то? Ах, братец... Это городская, потому и остывает. А ты – сушить! Сушить если – на кухню приходите. Туда приносите.

– Так, так. Ну мы и на кухню, коли так...

– Выдуло! Это уж печка такая, – объяснил хозяин, – купецкая... Печка легкая. Она тебя исподволь греет... А не то что – лег, да и бок спалил.

– Бывает, почтенный, – подтверждал Недозудок, – бывает у нас по деревням и это... Наработавшись, часто палят у нас бока-то. Умаявшись, на нашу печку ложись с опаской... Ожжет!

Присяжные даже расшутились. Снеся свои мокрые одеяния на кухню, они скоро улеглись по нарам и полатам.

Наутро, по обыкновению, пеньковцы поднялись рано; все они, по указаниям Луки Трофимыча, умылись, переодели рубахи, причесались, густо намазав коровьим маслом волосы, расчесали бороды и затем стали вынимать «обменки»: вынули – у кого были синие, у кого серые зимние суконные, а у кого летние тиковые поддевки и кафтаны, которые надеваются ими в деревнях только два-три раза в год в высоковажных случаях: на свадьбах, в приходский праздник, на рождество и пасху. Привели в порядок обувь: пятеро надели кожаные сапоги, слегка их смазав салом свечкой; прочие валенки. Лука Трофимыч одевался и прибирался вперед всех, другие делали то же, что делал и он. Надев «парадную» одежду, подпоясались все новыми

кушаками; на горло туго повязали большие пестрые и красные платки. Богаче всех, «купцом», оделся Бычков: в сине-суконную чуйку, опоясанную красным кушаком с широкими концами с кистями, в кувшинные сапоги, собранные «в кольца», на шее был даже шелковый платок. Те, у кого хорошая «обменка» была летняя, накинули еще на плечи серые зимние разлетаи; только опять один Бычков, хотя и был в теплой чуйке, надел поверх широкий синий кафтан.

Все были степенно довольны и даже несколько трусили. Один Фомушка глядел уныло и кряхтел и одет был беднее всех; ему нездоровилось.

– А ведь нас, братцы, дворник-то объехал, – сказал Недоуздок. – Искал я шабринских – нигде рядом не нашел... Тут и стройки-то нет.

– Вчера изустали очень: рады месту. Где тут его поверять!

Вошел хозяин.

– Как же, брат, наших-то не видать?

– Ваших-то? Да на что вам они? В суде увидите... Разве у нас плохо? У нас чудесно, лучше не надо: простор, чистота, теплынь. А ва-

ши, я говорил, рядом будут... Вот пройдешь три избы – тут тебе и будут.

– А говорили – здесь. Мы было с тем и шли. А то опаска есть насчет одежонки, тоже... по незнакомству-то.

– Здесь? Да это все одно: у дяди они у моего остановились. Дядя тоже двор держит... Что ж, мы родные, близкие... А насчет опаски будьте покойны: у нас этого баловства нету. У меня за всем свой глаз. Пожалуй, хоть запри-те – вот в конничек. Прекрасно будет. Я и замок приспособлю.

Успокоившись на этот счет, присяжные надели шляпы, картузы и шапки и, перекрестившись, пошли в город.

Было еще рано. Звонили к ранним обед-ням. Попадавшиеся пеньковцам горожане, спешившие на рынок, останавливались, видя разодетых по-праздничному мужиков, гово-рили: «Присяжные!» – и смотрели им вслед, словно на диво какое. «В новинку им мужи-ки-то ряженные», – замечал Недоуздок. Прохо-дя площадь, зашли присяжные в собор, посто-яли на паперти, в дверях, помолились; изда-ли поглядели на украшения, на купол, на

большое паникадило; на паперти обратил их внимание Лука Трофимыч на большую картину страшного суда, написанную на стене, с полинявшими и облупившимися грешниками и бесами. «Вот она, полоса-то божьей грозы! – заметил Еремей Горшок. – Экие страсти!.. А это, братцы, гляди: судию несправедливо поджаривают... вон этот черномазый-то. И весы, вишь. Один богомаз мне сказывал: судей, говорит, мы всегда с весами рисуем. Одна-то чашка, видишь, правда, другая – кривда... Ну, кривда правду у него перетянула – вот и поджаривают... Вот оно какво легко судей-то быть!» – прибавил он боязливо и почти с ужасом посмотрел на соборного сторожа, который равнодушно, как с давнишними знакомыми, обращался с бесами без всякого страха: к одному лестницу поставит, к другому щетку пихнет, а третьему на самый нос, – куда, вероятно, им же был вбит здоровый гвоздь, – повесил скуфейку и ключи. Прошел важно протодьякон, расчесывая большую гребенкой кудрявую бороду; вид он имел осанистый, рост высокий, живот большой, волосы заплетенные в мелкие косички; присяжные

полагали, что это сам благочинный по меньшей мере, и пожелали пред судом принять благословение, но протодьякон сердито махнул рукой и поспешно ушел в алтарь, загудев что-то сплошным басом на весь собор. «Не удостоил», – с грустью прошептал Фомушка.

Из собора присяжные пошли к окружному суду. У крыльца мерзла какая-то крестьянка с котомкой за плечами и часто сморкалась в угол головного платка; она низко поклонилась им и, пропустив, вошла уже вместе в переднюю под сводом лестницы.

Усатый, высокий, с большими солидными баками и серьезным лицом, в полушубке и чисто вычищенных сапогах, швейцар ходил со щеткой между деревянными вешалками и выметал сор.

– Раненько, почтенные, раненько! – проговорил он, увидя присяжных. – Долго вам придется ждать. Присяжные?

– Они. Да ведь где у нас время-то знать! Поранее-то оно без опаски. А то вы, слышь, строги.

– Мы строги. У нас все строки. Как что мало-мальски упущенье, хоша полчаса, – сейчас

строк... Ну, и штрафуют.

– Вишь, оно как, спуску не дают. Так тут, по нашим капиталам, и с ночи заберешься.

– Пожалуй, что заберешься. Посидите пока, – пригласил их швейцар. – А ты что, старуха, все ходишь?

– Я, ваша милость, по делу... Сынок у меня тут судился...

– То-то, судился... Так что ж теперь дожидаетесь, каждый день ходишь?

– Говорят, потребуют еще... Да я богу молюсь... Вот к заутрени схожу, а оттуда и сюда.

– Привыкла, должно, к суду-то!

– А что ж, милая, али осудили сынка-то? – спросили присяжные.

– Осудили, родные!

Крестьянка заплакала.

– А за что?

– За поджог.

– Как же это он?

– По глупости.

Крестьянка замолчала, подумала, потом начала кланяться им.

– По глупости, родные... Всего шестнадцатый годочек минул, что малый ребенок еще...

Будьте милостивы! Все купцы да приказные судили: они наших делов не знают... Може, вы помилуете. Вам наши порядки известны.

– Теперь уж не воротишь.

– Все может... Слышь, опять приведут еще... Я вот и в церковь каждый день хожу: надежды на заступницу не теряю...

– Не воротишь, бабка, не воротишь, – уверял швейцар. – У нас на все порядок.

Швейцар стал «прибираться по-форменному». Присяжные смотрели, как он фабрил усы, «височки», чесал баки и приглаживал волосы на голове, как надевал ливрею с позументами.

– Вот оно, дело-то: как видел его в полубубке, так теперь и не боязно, – заметил Недоуздок, – а глянь-ка сразу – того и смотри, что сробеешь.

– Форма! Нельзя! У нас все форма. Потому у нас дело с таким народом, чтоб страх был...

Наконец стали пробегать мимо присяжных молодые чиновники с портфелями и без портфелей, в очках и без очков, и непременно суетливо. Прежде в чиновниках никогда такой хлопотливости и серьезной «вдумчиво-

сти» в «приказное дело» не замечалось.

– А, присяжные! – удивлялись они и, шагая по лестнице через три ступени в четвертую, уносились вверх в достолубезное лоно Феми-ды.

– Вы теперь наверх ступайте, – посылал присяжных швейцар, – там уж ждите.

– А что ж, почтенный, хламида-то у вас, что ли, сберегутся?

– У нас.

– То-то, посмотрите, хоть и мужицкие... Суд судом, а всякому свое дорого, – внушал швейцару Бычков, трусивший за свою «купецкую» одежду.

«На судейском положении»

Присяжные поднялись вверх по лестнице, а за ними и старуха-крестьянка. В приемной комнате, перед залой заседаний, скоро стали собираться разнообразные личности: свидетели, адвокаты, ходатаи, поверенные, купцы, помещики. Пришли и прочие присяжные: в числе их было большинство крестьян, тут же и шабринские; чиновник из уездного города П., два купца оттуда же; учитель духовного училища с белыми пуговицами на вицмундире и медалью за крымскую войну в петлице и один купеческий сын, одетый «по-статскому», лет пятидесяти, высокий, плотный и ширококостый, с проседью. Он был очень оживлен, ко всем приставал, всех расспрашивал, рассказывал анекдоты, смеялся, вообще чувствовал себя как дома, очень свободно. Пришел и молодой купец с женой, наряженной теперь в невозможных размеров шиньон и шляпку, готовую ежеминутно слететь с затылка.

Купеческий сын повел носом и нюхнул воздуху: пронесли в буфет горячие пирожки. Зазвучали ружья, загремели цепи – ввели осужденных «для выслушивания решения в окончательной форме». Осужденные смотрели мрачно. Старуха-крестьянка подходила к каждому из них, всматривалась в лицо и отирала платком катившиеся слезы.

Кто-то прошел в шитом золотом мундире. Крестьяне-присяжные, пришедшие в первый раз, поднялись.

Кто-то, взглянув на них, обратился к сторожу:

– Присяжные?

– Точно так-с.

– Скажите, чтоб не вскакивали... пред всяким.

Лука Трофимыч, услышав замечание, обратился к своим:

– Чего прыгаете? Упрыгаетесь: здесь много ходят. Мы сами теперь судьи...

Купеческий сын уговаривал учителя духовного училища зайти в буфет.

– А то не успеем, ей-богу, не успеем... Проморят часов до шести, тогда раскаетесь, да

поздно будет.

– Да не хочется. Рано.

Купеческий сын шепнул ему что-то на ухо.

– Ну? Разве можно?

– Говорят... Ей-богу, я слышал: в ведре... за дверью, будто бы, дескать, вода... Рюмкой нельзя, а стаканчиком можно... Так и подадут вместо воды... Как же адвокаты-то? Неужто же терпеть будут?

Купеческий сын и учитель стали пробираться в буфет.

Между тем сторож обходил стоявших и сидевших кучками присяжных.

– Присяжные? – спрашивал он шепотом.

– Так точно-с, – отвечали некоторые, порываясь встать.

– А вы сидите, не вставайте. Не приказано. Потому вы сами судьи. Вы вперед не кланяйтесь, пусть вам сначала поклонятся. А то нехорошо. Вот сейчас член заметил, говорит: «Нехорошо».

– Слушаем.

– Чести-то, парень, не оберешься! – удивлялся Недоуздок.

А в это время почти рядом с ним шел раз-

говор между молодым мундирным господином и «знаменитым» приезжим адвокатом, искусно вскидывающим на нос пенсне, во фраке, в безукоризненно белой сорочке с золотыми запонками, в белом галстуке и жилете, с прекрасною бородой и тщательно расчесанным на затылке английским пробором; в шляпе держал он свод кассационных решений.

– Помилуйте, что же это, наконец, будет? Ведь совсем нельзя защищать! Так неравномерно составлять списки! Борода на бороде, бородой погоняет! – говорит знаменитый адвокат.

– Гм, гм... Серо, серо, – морщась, ворчит другой, «не знаменитый» адвокат.

– Нынче вся сессия серая... Радуйтесь! Ха-ха-ха! – ядовито замечает мундирный молодой человек. – Цветы вашего красноречия можете и не тратить понапрасну. Поберегите до благоприятного времени! Да и дам что-то мало собирается. Серенькая сессия-с, серенькая...

– Это невозможно... Я отведам... всех серых отведам. Мое дело такое... деликатное...

– А у вас что? Растрата сумм?

– Да... «недоразумение»!

– Так «серые» не годятся; нужно «разумеющих»? Это не то что какого-нибудь сиволапого защищать, который то «по глупости» ребра поломает, то «по непреднамеренности», после полуштофа водки, жену удавит, то на закуску стащит стяг севрюги у соседа «со взломом»!

– Как бы то ни было, а мне нужен теперь состав деликатный.

– Э, батюшка! Будто бы не знаете, что с этими серяками ваш брат всякие штуки может проделывать! С ними еще лучше. Говорят, раздать вот каждому, хотя теперь, по записке и написать на ней: «Нет, не виновен...» Пусть и помнят, и заучивают... Право попробуйте!

– Смейтесь! Я посмотрю, посмотрю да и велю своему клиенту сердцебиением захворать, вот мы другой сессии и дождемся... Ох, уж заедешь в эту вашу трущобу!..

– Столичная вы птица! Погодите, вот скоро у нас двоеженца будут судить... Вот бы вам!.. Что, не возьметесь? Из образованных...

– Слышал! Голяк...

– Ради красноречия... Можно бы цветы рас-

сыпать: все наши сливки соберутся, все дамы – в самых лучших нарядах... Дело романтическое: он – молодой, умный, образованный, она-милая, грациозная, певица... Жалко, жалко, что вы упускаете случай блеснуть своею красотой и образованностью...

– При этих «серых»-то? Покорно благодарю!

– Недолюбливает нас, серяков, баринок-то! – заметил Недоуздок Фомушке.

– Дело господское.

Вдоль приемной степенно прохаживались, оглядывая присяжных, батюшка в шелковой рясе, с наперсным крестом, красным лицом и широкою лысиной, расчесывая жидкие вьющиеся волосы, и солидный толстый господин с широким лицом и большим носом, в форменном фраке не судебного ведомства; он держал в руках шелковый фуляр и вертел табакерку; на толстой шее болтался у него орден.

– Вот посмотрите, каких присылают, – говорил толстяк, показывая на Фомушку. – Они думают, что если у них там выжившие из ума «старики» первые судьи во всем, так и в окру-

ге за первый сорт сойдут... Я полагаю, что закон в этом случае недосмотрел: шестьдесят лет – большой срок. Вы не поверите, как скоро эти господа глупеют! У меня крепостные, бывало, до тридцати лет – дурак набитый, ничего не понимает, только и знает: «как старики»; с тридцати лет начинает как будто в ум входить; не успел еще хорошенько войти в него, как лет с пятидесяти уже начинает «забываться» и опять глупеть. По-моему, пятьдесят лет – вот срок для них... Ведь это не мы!.. Если их «правоспособность» ограничить периодом десяти лет, было бы много лучше. Списки составлялись бы равномернее, процент «серого элемента» был бы меньше, контроль был бы возможнее... А он необходим, потому что тут ведь один инстинкт...

– От непросвещения-с, – заметил батюшка, изгибаясь всем корпусом, чтобы достать со дна кармана платок из сиреневого цвета по-лукафтанья. Они остановились пред Фомушкой.

– Э-эх, старик, старик, – с сожалением сказал толстяк с орденом, слегка обмахивая нос шелковым фуляром, – сидел бы ты на печи до-

ма да грелся... Присяжный ведь, поди?

– Удостоен на старости лет, сударь... Привел господь и мне на конце жизни хотя раз великому делу причаститься...

– То-то, «великому делу»... Ты думаешь, здесь то же, что у вас по волостям: сойдутся старики, побряхтят, сказку расскажут – и конец... Вот вы своего-то батюшку спросили ли, каково «велико» это дело-то?.. Он бы вам сказал. Кабы ты понимал, так лучше сидел бы на печи, да грелся, да богу молился, чтоб господь отвел с глупым-то разумом от мудреного дела.

– Неужто, батюшко, не годимся? Думается, что, мол, какие ни есть, сударь, тоже люди... Знамо, мужичий разум – что вода темная, только ведь мы с молитвой на это дело идем.

– То-то и есть, «вода темная»... А из-за тебя, глядишь, хороший человек в Сибирь угодит, а мошенник гулять пойдет.

Фомушка посмотрел во все глаза на большой нос толстяка, на его пухлые щеки, толстую шею с орденом. Что-то его словно резнуло по сердцу, задело за живое.

– Чать, у меня, милой, крест-то тоже есть на шее, хотя и не такой, что у тебя. Ума, мо-

жет, с твое не хватит, а душа христианская.

Толстяк побагровел; батюшка закашлял, поспешил принять озабоченный вид и отойти. Кругом начали прислушиваться другие присяжные.

– У вас все «душа», – процедил, поворачиваясь, толстяк. – Вы и глупы «по душе», и мошенники «по душе»!

– О чем вы? – любопытствовали присяжные.

– Огорчаются нами, – промолвил Фомушка. Вошел торопливо судебный пристав с белою цепочкой на шее, с записочкой и карандашом в руках.

– Господа присяжные, – сказал он громко и внушительно, – потрудитесь все отойти – вот сюда.

Присяжные поднялись, задвигались и собрались в кучку – крестьяне в один угол, прочие в стороне.

– Купеческий сын Петр Иванович Сабиков! – начал перекликать пристав.

– Здесь. Налицо-с.

– Отойдите к этой стороне.

– Крестьянин Лука Трофимов!

– Здесь, – отвечал Лука.
– Отойдите. Крестьянин Петр Недоуздок!
– Здесь! – выкрикнул Недоуздок и перешел в другой угол.

– Крестьянин Филипп Иванов Савелов!
– Здесь... Сами-с, – тихо проговорил седой низенький и юркий старик, отходя к стене и прячась за спины присяжных.

Недоуздок, раскрыв, по обыкновению, «восторженно» рот, с удивлением смотрел на шабринского соседа. Пристав продолжал перекличку. К нему подошли с вопросами: «Ну, что? Все? А?»

– Нет, двадцать восемь только, а нужно тридцать шесть, – пожимая плечами, отвечал он.

– Ну-ну, не допущу, – сказал адвокат с пенсне, – отложат... И прекрасно.

– А ты с коих это пор, Пармен Петрович, в Филиппы-то Ивановы записался? – подошел и спросил Недоуздок Савелова.

– Ай ты забыл?.. С чего это ты, брат? – проговорил смешавшийся Савелов.

– То-то я тебя Парменом знавал, а теперь в судьи попал – Филиппом стал... Разве пере-

крестился?

Но тут подошли к ним Лука Трофимыч и шабринские.

– Чего ты пристаешь? – приступили шабринские к Недоузду. – Свою волость знай, а в чужую не суйся. Что за пристав?

Савелов мигал своим, боясь скандала.

– Отойди, Петра! Вспомни, что старшина наказывал, – сказал рассудительный Лука Трофимыч, видя, что их соседи косо смотрят на них.

– Мне-ка что! – говорил Недоуздок, пере-дергивая плечами. – Пущай хоть Маланьей зовись. Они народ богатый... може, им позво-лительно...

– Да ты, может, ошибся? Запомятовал?

– Ну, вот! Чай, у него зятя так-то зовут: я и дружкой у его-то зятя был. У них на фабрике работал полгода. Это вы не знаете, а я знаю. Да и по фамилии-то они Гарькины будут.

– Все ж тебе не след соваться: ты не один. Спаси, господи, всех нас под свидетельство подведешь.

– Да ведь мне плевать на них! Пущай! Я ведь ничего!

– Ну, и молчи. И хорошо, что с нами на постоянном не встали. Вишь, им не по нраву.

Скоро ввели присяжных в залу заседаний. Прежде всего шли они по ней гуськом, боязливо передвигая ноги; затем Недоуздок испугался больше всего священника и наложив евангелием и крестом: они произвели на него сильное впечатление. Присяжные старались не смотреть по сторонам и глядели прямо против себя, в упор, на поместившегося против них прокурора и «знаменитого» адвоката, который, рисуясь, метал на них из-под пенсне сердитые взгляды. «Чего этот баринок, подумаешь, взъелся на нас!» – размышлял Недоуздок и никак не мог понять. Раздались известные слова: «Прошу встать: суд идет!» Присяжные-крестьяне вздрогнули, испугались, смешались и, вставши, долго еще не решались сесть, ожидая, не скажет ли чего-нибудь еще пристав, но тот начал им молча махать руками. Началась известная процедура, но скоро встал адвокат и развязно, как не особенно важное, что-то сказал. Крестьяне-присяжные никак не могли разобрать, даже Недоуздок, которому очень хотелось знать, что «бари-

нок» про них говорил, но как он внимательно ни вслушивался, ничего не понял. Затем председатель молча качнулся корпусом к прокурору, тот тоже, едва привстав, что-то ответил, а что именно – крестьяне ничего не поняли. Судьи стали шептаться и наконец объявили, что сегодня, по неполному комплекту присяжных, заседание не состоится. Стали толковать о причине неявки присяжных; большую часть штрафовали. Недоуздок удивился величине штрафов. «Полсотни... слышь? – толкал он под бок Фомушку. – Купецкий штраф... Нам бы это ни к чему – и взять не с чего».

Наконец их отпустили, сказав, чтоб приходили завтра.

Общее впечатление формальной стороны суда на крестьян-присяжных было очень смутное, неясное; все они словно в тумане ходили и не могли ничего понять. Им все казалось, что их куда-то ведут, где-то сажают, поднимают, перекликают и все приказывают: «Встаньте, сядьте, подойдите, отойдите...» Поэтому первые дела всегда трудно даются присяжным. Наши были счастливее: им было

время приноровиться, одуматься, присмотреться после разнообразных «внушительностей».

III

Общинники и собственники

Присяжные вышли из суда гурьбой; постояли на крыльце; потом стали спускаться с лестницы, шаг за шагом. Разбились на кучки; слышались возгласы: «Вот оно как ноне: не захотел судиться – до завтра оставят. Не притесняют, без прижимки».

– А все же, брат, завтра али послезавтра, а в свое место уйдет, куда судьба тащит.

– Уйдет! Суд свое возьмет.

– Ах, чтоб те! День-то даром пропал... Баловство, гульба! – ворчал какой-то мещанин, перегоняя пеньковцев.

– Знамо, гуляй. Мы судьи! – трунил Недоуздок.

– Тебе хорошо на общинные-то деньги, – говорил мещанин. – А вот тут – проежа! Кто тебе заплатит?

– Неужто у тебя меньше нашего денег?

– Всяк себе свой счет знает. Вот вы бы одни и судили с приказными, коли любо. Вам это в привычку. А нам ни к чему: у нас судов нет и не было. Нам баловаться некогда – у нас каждый день копейку выжми, копейку произведи. А тут пятнадцать ден – заведение! Только продержка, баловство, по трактирам обчистка, сиротской копейки прижимка.

– А ты, сиротская копейка, не балуйся, не ходи в трактир.

Шабринские шли в стороне и что-то горячо рассуждали со стариком Гарькиным (Савелов тож). Наконец один отделился от них и подошел к пеньковцам.

– Вы, соседи, теперь куда? – спросил он их.

– Ко дворам, обедать думаем.

– Рано. Лучше пойдем в трактир – чаю попьем. Благо денек выдался – погулять хоть. В другой раз, рассказывают, и рад бы, да не выпустят.

– Капиталы-то у нас не очень припасены на чай-то. Это вы уж гуляйте, – отвечал угрюмо Лука Тро-фимыч.

– И у нас тоже немного. Да коли угощают, так чего отказываться. У них денег много. От

добра отказываться грех.

– Коли угощают, так и ступай.

– Вы подите. Вас зовут. Соседи ведь будем...

По соседству.

– Что ж, соседи? – заговорил, подходя и приподнимая шляпу, старик Гарькин (Савелов тож). – Не обижайте, не откажите принять наше угощение... Здесь, на чужой стороне, что за счеты! А мы тоже с вами не далекие, кабысь совсем свои. Недаром *шабрами*[1] из веков звались. Уважьте. Нам это будет не в разор, а в одолжение... Друг об дружке, а бог обо всех.

– Да ведь какие у нас с вами такие знакомства? Вы люди богатые, собственники...[2] Ваше дело купеческое, фабричное, – говорил Лука Трофимыч.

– Полно, отец, что ты! Мы ежели и собственники, так всегда к обществу близки. Купцы! Что за купцы, коли в крестьянском звании находимся? А что насчет знакомства, так вот Недоуздок ваш нам большой благоприятель даже... Чать, помнишь, Петра, как дружкой-то пировал? А тебя помнят: прибаутчик был ты завзятый.

– Как не помнить! Я с тех пор и имя-то твое крещеное помню...

– Ну, это, други, оставим. По крестьянству порой на это не очень смотрят. Как кто ни завись, был бы человек хороший, с душой. Для дела в этом разницы нет. Может, еще другой-то человек с душой и лучше для дела-то. Так ли я говорю?

– Так что жив самом деле, братцы? – спросил Недоуздок. – Коли человек хороший, отчего не уважить?.. А? А оно пополоскать тепленьким животы важно было бы с дороги!

В это время присяжные подошли к трактиру; шабринские стали подниматься по лестнице; пеньковцы подумали, подумали и тоже пристали к ним. Только Фомушка не пошел, – он совсем разнемогся и поплелся на квартиру. Тут пеньковцы заметили, что старушка-крестьянка, которую встретили они в суде, не отставала от них и теперь поплелась вместе с Фомушкой.

Войдя в трактир, все отправились было, по привычке, мимо буфета на «черную половину», заметив в ней серые полушубки.

– Сюда-с, направо пожалуйста. Господа при-

сяжные! – крикнул, выбегая из-за стойки, толстобрюхий, на коротеньких ножках хозяин, улыбаясь, расшаркиваясь и неимоверно быстро действуя локтями. – Помилуйте, господа присяжные, что вы-с! Вот сюда-с! Разве это можно-с?.. С черным народом? Что вы-с?.. Это для нашего города даже большой стыд, ежели... Даже для самого государства-с, я так полагаю... Как же можно-с? Мы обязаны со всяким уважением принять... Располагайтесь!.. Федька, салфетку поверни!.. Располагайтесь свободней, вот на диванчик...

– Почету-то сколько за нонешний день набрался, за пазухой домой не унесешь! – удивлялся Недоуздок.

– Как же-с! Помилуйте... Мы, горожане, вас обязаны даже с хлебом-солью принимать... Потому, господа, через вас сельское общество с городским обществом в один интерес входят, – говорил политик-трактирщик. – А то на черную половину! Нельзя-с... Городу обидно... Мы городские представители-с, гласные, так скажем, а вы наши гости... Вот отсюда все на виду-с... Вот и господа там кушают... Чайку-с? Сколько парочек? На всех прикажете?

– Да, на всех... Чайку... Да там пропустить, что ли, с огурчиком, – заказывал Гарькин.

– Водочки-с?.. Сию минуту... Федька! «Поповки» господам присяжным! – распоряжался хозяин, так ловко повертывая большим животом, что вызвал даже Недоуздка на удивление: «Вишь ты, как брюхо-то поворачивает! Не даром копейку выжимает!»

Однако хозяин-политик все же посадил «господ присяжных» наших на средней половине, а не на «чистой», где сидели купцы и чиновники, хотя она и отделялась всего чептырьмя колонками. Но и такой мизерный и призрачный «почет», которым сегодня с самого утра награждала «округа» мало избалованных крестьян-присяжных, доставлял им детское удовольствие.

– Важно быть присяжным! Со всяким ты равен! Изредка побаловать нашего брата можно... Ничего... Хорошо! Будто веселей неумытым-то рылом взглянешь! – высказывал вслух свои тайные ощущения Недоуздок.

Вообще он был, казалось, всех довольнее своим «судейским положением». Глубоко впечатлительный, он отзывался на все «по ду-

ше»; все его интересовало, все он любопытствовал и все принимал за чистую монету, но зато больше и грубее всех ему приходилось и разочаровываться и затем глубоко страдать или удивляться своему же разочарованию. Шутить с такими натурами опасно: что уже им дано, то они хотят пить полною чашей, не удовольствуясь полумерой, одним «прихлебыванием». Им все или ничего. Такие натуры – прекрасный пробный камень для «благих намерений» и «прекрасных слов».

– Те-те-те! Пойдите! – вдруг заговорил купеческий сын Сабилов, заметив шабринских, и подошел к ним, всматриваясь в Гарькина. – Ну, так и есть! Вот ведь, насили узнал... Смотрю на суде, что лицо знакомое будто!.. Чье, мол, думаю? Да опять фамилия не такая! Думаю, забыл... Ведь Гарькины будете?

– Нет-с, мы Савеловы, – несколько смутившись, проговорил Гарькин.

– Опять Савеловы! И в суде Савеловы! Вот подите же! А у меня вот так на уме и вертится, что вы Гарькины.

– Нет-с, Савеловы. Это бывает часто: будто затмение...

– Да, это случается. Но все же я так ясно помню: ведь у вас фабрика полотняная в Шабрах?

– Имеем-с.

– Ну, вот... Ведь вы были в *** в прошлом году на ярмонке? Еще я у вас полотно покупал... Припомните-ка: еще я тогда забраковал у вас, руками разорвал чуть не полкуса.

– Не припомню-с. Это вот, может, зять мой. Так тот точно что и по фамилии Гарькин. Да я ему и все дела по фабрике сдал, потому, по старости, не занимаюсь.

– Странно, странно... А у меня где-нибудь дома даже и записано... Ну, батюшка, нажгли вы было меня с полотном-то! А я еще хотел тогда жене поручить... Вот уж именно пословица-то: на то щука в море, чтоб карась не дремал... А быть бы мне карасем. Вообще, видно, вы народ оборотливый...

– Не знаю-с. У меня так не бывало. Впрочем, за зятя не ответчик. Он, точно, человек оборотистый. Может быть, и было что... По купечеству... Хе-хе-хе! Дело коммерческое.

– Нда. Что, если бы нашего брата не на две недели только, а каждый день в году застав-

лять присягу принимать? А? Пред каждой сделкой? Ведь коммерция рушилась бы, совсем бы рушилась.

– Не знаю... Нельзя полагать. Я так думаю, что, ежели тебе есть резон обмануть, так ты и с присягой и без присяги обманешь... А не обманешь – не продашь! – прибавил Гарькин и весело засмеялся. Он совсем овладел собой, смущение даже заменилось игривостью.

– Верно, верно...

– При этом-с, кроме того, и присяга ведь разная, – продолжал Гарькин, ловко поправляя рукава и принимаясь развязно споласкивать чашки. – Примерно хоть присяжный: даст он присягу в том, чтоб судить по чести, по совести... И будет судить, и от присяги не отступится. Ну, только это дело от всех других его дел опять-таки сторона. Тут он слободен делать, как ему нужно. Судить дал он присягу по убеждению совести, нелицеприятно, и судит так... А спроси ты его в это время: как тебя зовут? Акулиной, – скажет он. И ничуть это противу присяги его не будет, коли ежели в этом его интерес есть: может, вся жизнь, дети, семья, состояние... Так ли я говорю-с?

– Оно, конечно... Только ведь каково дело, каков предлог?

– Знамо, коммерческое-с... В этом деле сам господь снисходительствует.

– Именно, снисходительствует... Пожалуй, что и правда... Ха-ха-ха!.. Ведь вот теперь хоть бы мое дело: ей-богу, с радостью бы сообщил, если б только поверили, что у меня жена умирает... Сейчас бы в суд прошение – и марш домой. Теперь, поверите ли, ведь совсем в две-то недели все дела станут. Ярмонка – и посылать некого... Жена на сносях, седьмым, господь с ней... Просто хоть плачь. А тут опять расходы: ведь здесь рублем в день не обернешься, соблазны, притом ежеминутно! В суде опять: глядишь, пирожок – гривенник, котлетка – четвертак... Кушает господин прокурор, ну и тебе как-то обидно отстать. На серяках не взыщут, хоть каравай за пазухой притащи, а нам нельзя. Вот, рассказывают: коммерсант один вдруг получил телеграмму на самом заседании, что у него отец умирает. Прочитал, даже побледнел, затрясся весь. Посмотрели: сейчас же отпустили, даже слова не сказали. А все вздор: отец-то здоровехонек

был; вот ведь как представился! Побледнел! Знает, что справляться никто не поскачет. Нда-с... А у меня даже и случай есть: жена родит. Право, хочу уведомить, чтоб она телеграммишку сюда черкнула: «Приезжай, милый супруг! Совсем, мол, у меня дух вон!» Недоуздок не утерпел, чтоб не заметить, что купцам, видно, и уставы не писаны никакие.

– Ну, а вы что? – накинулся на него купеческий сын. – Святее, что ли, нас? Поди, нет у вас «нетчиков», али не запаивают мир, чтоб в очередь не заносили? Думаешь, вы одни святые?

– Да нам к чему в нетчики-то идти? Мы общинники. Нам ни к чему. Мы еще даже, пожалуй, в охоту по зиме-то сходим; проветришься лучше, чем на печи-то преть – отвечал Лука Трофимыч. – Вот собственники – дело другое... Али вон летом и нам...

– Хорошо вам общинные-то деньги продавать!

– Хороша проежа! – крикнул Недоуздок. – Ах, купец! Мирскому пятиалтынному – и тому ты позавидовал...

– Все же хоть пятиалтынный есть с кого

взять... А мы с кого взыщем?

– И у вас общество есть.

– Наше-то, брат, общество скажет: у тебя денег много у самого, на то ты и купец.

– Так об чем же, почтенный, горюешь? Денег много, а он горюет! Это как будто не дело, как будто выходит: и не надо, а все-таки урвать.

Лука Трофимыч и прочие присяжные сосредоточенно и недовольно молчали, даже шабринских коробило от излишней «игривости» старика Гарькина, увлекшегося слишком своими «коммерческими принципами» в разговоре с купеческим сыном, и сидевший рядом с ним *шабер* не раз ткнул его исподтишка под бок. Луке Трофимычу начинали не нравиться трактирные разговоры: ему постоянно вспоминался старшина и его «напутствие», в основательность которого Он не мог не верить по предшествовавшему опыту.

Между тем посетители собирались в трактире все отборнее и отборнее. Недоуздок обратился весь в слух и наблюдение.

– Ничего! Кажись нам теперь *округа* во всем обличий... Здесь на свободе... Посмотрим

мы тебя, как ты об нас, серяках, теперь полагаешь...

Однако пеньковцы, наскоро напившись чаю, боялись долго оставаться в трактире и ушли. Только Недоуздок остался: он не мог не удовлетворить своего любопытства вконец.

IV

Мужики

Вернувшись на постоянный двор, пеньковцы удивились, найдя комнату, в которой они помещались, пустою и отпертою; но тут скоро заметили, что в одном углу, на нарах, ютилась старуха крестьянка. Она, казалось, совсем облюбовала этот угол и расположилась в нем «по-хозяйному»; вверху на гвоздочки развесила плетенки из суконной покрывки, какие-то мешочки, бурачки и приладила образок. Сама она, обернувшись сторбленною спиной к двери, копалась в мешке с холстинными постромками, подшитом сверху телячьей потертой шкурой с изношенного солдатского ранца. Старуха была теперь в крашенинном синем сарафане и в составленном из разных

лоскуточков повойнике на голове; из-под серой грубой рубахи смотрела ее впалая грудь темно-коричневого цвета. Сморщенное маленькое лицо ее носило по изборожденным шрамами и морщинами щекам следы бесконечно пролитых слез, оставивших в них после себя темные дорожки примоченной грязи.

– А ты что, старушка, здесь делаешь? – спросил Бычков, заметив ее.

Старушка встала и низко поклонилась пеньковцам.

– А я вот, почтенные, со старичком вашим! – отвечала она.

– Сдружились?

– Спокою его... Слаб он у вас, старичок. Претерпел от вьюги. Зорок мой глаз на это: сейчас заприметит. Тем и по селеньям нашим известна. Тем и век свой проживаю, что болящего спокою...

– Лекарка будешь?

– Нету. Я молитвой. Жальливая я... Из-за наших грехов старичку напасть пришла... Из-за грехов наших потрудился.

– Из каких из наших?

– Так, из наших. И я для него должна потрудиться ради господа моего. «Бабочка, – говорит мне старичок, – тоска, – говорит, – мне на сердце большая. Шел я на великое дело, на ответное – за неразумный грех человеческий у царя и закона постоять, да не принимает, должно, господь моего заступления, попустил он, батюшко, вьюге сломить старые кости, а людской обиде сломить и смутить до конца дух мой». Помолимся, говорю я, грешные.

– А где же ты нашего старичка сокрыла? А? – спрашивал Бычков. – Смотри, бабка, не смуди его у нас... Где у тебя он?

– Нишкните, милые; чуточку забылся. На полатях он. Сном господь исцеленье всякой душевной истоме приносит.

– Так помолились, старушка? Дело доброе... Вот мы после суда-то и поженим вас, пожалуй. Ишь вы у нас как слюбились! – шутили присяжные, распоясываясь и снимая свои «парадные одеяния».

– Встали мы пред иконою, – неторопливо продолжала старуха, – и помолились: за сродников, за родителей, за царя-батюшку, за судию благодушного, за скорбящего, несчастно-

го, за законом обличенного...

– Умеешь ты, бабка, хорошо молиться! – восхищались присяжные.

– Потому у меня душа чиста, что стекло прозрачное. Я давно так научилась молиться.

– За что ж это тебя господь сподобил?

– За смиренное терпение... Я не ропщу.

– А сын, старушка?

– Ежели господу угодно, он надежду мою поддержит. Не угодно – смирюсь.

– Истинно ты, бабушка, богу угодишь этим.

– Господь награждает меня. Благодарю его всечасно. Святými целеньями я от него за- всегда награждена на людскую нужду.

Крестьянка вынула из висевшего на поясе кармана, из разноцветного ситца, пузыречки и показала пеньковцам.

– Вот маслице от споручницы... Вот от Мико́лы-угодника из самой мощи... Вот от живоносного источника... Спрыснула я старичка святою водой от живоносного источника, обвязала ему голову ледяною примочкой. Успокоился старец божий, просветлел, что младе-нец. А болен у вас он, болен! Натрудился шибко.

– Что сделаешь, бабка!.. За наши грехи бог, должно, наслал экую метелицу... Может, нарочно нас отстранил, потому, надо полагать, что недостойны... Вишь-де лапотники, пешкара эдкая, лошадеенок жалеет, пешком идем, а туда же судьи... Недаром здесь нами гнушаются... Знамо, больно уж ловки стали, в судьи захотели... С барями да богатеями судить!.. Вот господь за гордость-то мужичью... и того, – философствовал Еремей Горшок, – и какает...

– Ври больше! – сердито сказал Лука Трофимыч.

– Да, право, тоска! Ты смотри, сколько на нас из-за этого самого обижаются... Пущай бы их одни судили, коли не по нраву с нами...

– Знал бы, не пошел, – сказал другой Еремей. – Лучше откупиться! Всякую напраслину на тебя гнут...

– Смирись, – поучал Лука Трофимыч.

– Мы, кажись, смиренны... Уж так смиренны, что малый ребенок и тот тебе в бороду плюнет!

– Обедать бы, братцы, лучше... А во всем прочем буди воля божия! – заметил Бычков,

засунув широкие ладони за пояс.

– Обедать так обедать. Заказывай, – отозвались пеньковцы. – Недоуздка нам ждать нечего. Это уж мужик такой: по три дня скорее неевши пробудет, чем дело не выследит.

Сели обедать. Все стали добродушнее. Завели разговоры.

– Бабка, похлебай с нами. Недорого возьмем. А то за нашего старичка и так покормим, – предложили присяжные.

– Спасибо. Я этим себя не питаю.

– Что ж так?

– Я – что птаха малая... У меня и тела нет!

– Оттого и тела нет, что ешь мало...

– Нет, не от этого. А тела нет, оно и не требует... Сухонького пожую – и довольно... Пять лет уж я так-то...

– Из тебя, мотри, моща выйдет.

– Выйдет, думать нужно. Я и теперь моща, только живая.

– А ты чья, бабка?

– Я-то? Я беглая.

– Беглая? От кого?

– От хозяина.

– За что так?

– Пятый год я беглая. Жили мы большою семьей: два брата. Большак-то вдовый, трое малых ребятишек у него. Такой он тихой в характере, за ребятишками своими что баба ходил, нянчился. Зимой истопит печку, перемоет всех, вычешет. Дивно на него смотреть было, да и смешно. Мой был мужик рассудительный; он все подсмеивался над большаком, «женкой» его прозвал и считал себя не в пример умнее. Мой не скажет: «Люблю, мол, тебя, Паранька!» – нет, он все эдак норовит по уму сказать: «Мы с вами примерно, Прасковья Титовна, от самого господа бога и с благословения родительского любиться должны... Так ты по сторонам не разувай глаза-то». Не нравилось ему, что большак другой раз с базару платок мне привезет, сластей каких. Сынишку нашего тоже баловал. Пришло так, уехал мой-то в Нижний, а большак к знахарке ходил, питья мне какого-то в квас влил. Может, этим больше и обошел меня. Тем делу конец бы, потому я скоро свой грех пред господом признала, стала в церковь ходить, покаянье на себя наложила. И все внутри меня что-то говорило: «Не видать тебе, раба Прасковья,

до конца твоей жизни счастья! Весь дом твой несчастием порешится. А будет твоей душе покой, ежели скитаться будешь по земле и помогать болящим... И даю я тебе провиденье – всякую болезнь в человеке признавать, и ты, болезнь ту провидевши, должна за тем человеком следовать... Вот тебе мой приказ».

– Как же хозяин-то?

– Пришел и признал. Сейчас с братом в раздел. Стали делиться, а большак все себе и отсудил. Тут мой уж стал бить меня. Я молчу и только к сынку привязалась, десятый годок ему шел. Он и его у меня отнял в ученье. А сам все бьет; два года бил: грудки отшиб. Ста-
ла я сохнуть. Тут я надумала: «Божье повеле-
ние исполнить требуется». И ушла в бега: в Соловки ходила, в Новом Ерусалиме была, по всем обителям странствовала. Вернулась тихонько домой – сынку четырнадцатый годок шел; и стал он щепка Щепкой, и как будто рассудком тронувшись. «Петя, – говорю, – это я, matka твоя». – «Вижу», – говорит. «Не рад ты мне?» – «Нет, – говорит, – ступай опять в бе-
га... Узнает отец – убьет и тебя, и меня!» Горько мне было, заплакала я – ушла опять к Кие-

бу. Год ходила. Вернулась сюда, в город, слышу, говорит мне один мужичок из наших: «Твоего сына судить будут...» – «За что?» – спрашиваю. «Отец, слышь, его из-за тебя избил; привязал к телеге – да вожжами... Зверь стал – насилу оттащили. А после того Петьку-то поймали у задворок со спичками. Избу хотел поджечь. А отец-то пьяный спал. Хорошо, что усмотрели. Спалил бы и деревню!»

– А сколько тебе, бабка, лет? – прервал ее Бычков.

– Третий десяток в исходе.

Пеньковцы посмотрели на нее.

– Ну, истинно твое слово: не даром твое покаянье... В половину тебе господь годов прибавил – веку укоротил.

В эту минуту за дверью послышался разговор. Пеньковцы стали вслушиваться.

– Не нас ли кто ищет? – сказал Лука Трофимыч, приподнимаясь, чтоб справиться.

Дверь отворилась, и в ней показался хозяин, за ним солдат, длинный и прямой, как вежа, с корявым, усеянным прыщами лицом; в руках у него была книга.

– Господа присяжные? Вот здесь-с. Они са-

мые. Получайте! – говорил хозяин, пропуская вперед солдата и показывая на пеньковцев.

Пеньковцы все поднялись, только крестьянка как сидела, так и осталась невозмутимой.

Солдат, не снимая кепи, молча подошел к окну и стал рыться в книге. Наконец он вынул лоскут бумаги.

– Фома Фомич кто из вас? – спросил он.

– Есть. Старичок будет. Вот на полатах он!

– Можно, чай, слезать с полатей-то. Не велик барин!

– Болеет он у нас, кавалер, – жалобно заговорил Лука, – уж просим прощенья... Потрогать жалеем... Забылся только что.

– Ну, мне все равно. Вот повестка. В семь часов приказано явиться. Вы с ним одной волюсти?

– Одной.

– Все?

– Мы все пеньковские. Других нет...

– И женка? – спросил солдат, кивнув на крестьянку и едва изобразив на корявом лице какое-то подобие улыбки. – От скуки, что ли, прихватили с собой... Али, может, и женка в

присяжных тоже?

– Нет-с... Зачем же?..– умильно улыбаясь, объяснял Лука Трофимыч. – Так, бабочка... Набеглая... Присталая, выходит...

– Ну, и ее тащи к нам, – шутил солдат.

– Непочто, господин служивый, непочто... Мы вам не слуги... Мужики вам слуги, а мы, благодарение отцу милостиву, не слуги еще вам... Мы, бабы, не вам – богу служим! – заявила храбро «беглая бабка».

– Вот так женка – заноза! – продолжал шутить солдат и потом, быстро обернувшись опять к пеньковцам, сурово прибавил:– Так всем вам, пеньковцам, явиться к семи часам.

Пеньковцы перепугались и молчали.

– А не известны вы будете, господин кавалер, к чему это нас? – проговорил дрожащим голосом Лука Трофимыч.

– Там объявят... За хорошим делом к нам звать не станут.

Солдат оставил повестку и ушел.

– Что за грех? – спрашивал тихо Лука Трофимыч, всматриваясь в боязливо недоумевавших пеньковцев. – Ч-чу-де-са-а!.. Сохрани, господи-батюшко, Миколай-угодник! Что за

притча? Не Петра ли что?

– Фомушку, слышишь, зовут. К чему тут Петра? – заметил Бычков.

– Ну-ко, Дорофей, прочитай поскладней, нет ли там чего еще? Не прописано ли? – обратился к нему Лука, подавая повестку.

Бычков стал читать по складам, но, кроме приказа к крестьянину Пеньковской волости Фоме Фомину явиться в семь часов пополудни сего ноября, дня, такого-то года, не нашел ничего, хотя посмотрел и на Другую сторону и даже долго и тщетно старался разобратъ хитрый росчерк у подписи письмоводителя.

– Помилуй нас, грешных! – глубоко вздохнули пеньковцы.

– Смотри, братцы, часы-то бы как не проворонить. Вишь, здесь какие строгости – все строки, – внушал обстоятельный мужик. – Ты, Еремей, карауль смотри. Почаще к хозяину-то понаведывайся. Да не задряхни, спаси господи, как ни то грехом; не ложись на лавку-то, а у стола присядь... Да вот, вот бабка-то, может, приглядит за тобой. А мы отдохнем пока.

– Ну, братцы, чудеса здесь! – продолжал он,

собираясь ложиться. – И ума теперь совсем решишься... Не соображусь...

– Да прежде-то разве не бывало? – спросили другие.

– Как не бывало!.. Всяко бывало... То-то вот и пужаешься... Думается теперь, как-никак, а бесприменно по трактирным делам... Вишь, что горожане чудят над нами.

– Тьфу ты, господи! – рассердился наконец всегда смирный и покорный Еремей Горшок. – Дались тебе, Лука, эти трактиры. На всякое дело у него одно решение – трактир! Да неужто, кроме трактира, так уж над нами и чудить некому? Не клином, чать, округа-то сошлась... И опять, разве Фомушка был хоша раз в трактире?

– Так, так... Совсем оглупел, братцы! Простите, – признался благодушно Лука Трофимыч, зевая и крестя рот.

Смерклось. Зазвонили к вечерням. Дежурный Еремей Горшок, все время дремавший за столом и то и дело просыпавшийся и бегавший на хозяйскую половину справляться о времени, перебудил пеньковцев.

Встал и Фомушка. Спросили его товарищи,

не знает ли он, зачем его вызывают.

– Господь знает, милые, – отвечал он. – Какой бы уж грех от старика мог быть? Только что разве вот в округе с барином одним говорил – с крестом был тот барин... Так он же меня обидел. А больше греха за собой не припомню.

Повздыхали присяжные и стали понемногу собираться «на приглашение».

Собрался кое-как и Фомушка, окутав, по настоянию «беглой бабочки», все лицо, голову и шею, которые у нею горели, платком.

– Не след бы старичку ходить... Ох, не след бы! – толковала она. – Трудно будет старичку перенести!

Когда пеньковцы выходили на Московскую улицу, заметили они сквозь сумерки чью-то подвигавшуюся к ним темную фигуру в картузе, шедшую неровным, торопливым шагом, постоянно сбиваясь с протоптанной по снегу дорожки в лежавшие по бокам сугробы; темная фигура изредка размахивала руками и, вероятно, вела таинственные разговоры сама с собой; вообще она сильно смахивала на подпившего человека.

Фигура в картузе прошла было, не замечая пеньковцев, мимо, но они, всмотревшись, окрикнули:

– Петра!.. Ты это?

Фигура в картузе остановилась и в недоумении, как впросонках, не понимая ничего, смотрела на них.

– Чего ты опешил? Воротись: идти нам нужно всем. Объявиться приказ вышел.

– Куда? – спросил Недоуздок, быстро подходя к ним: это был действительно он.

– В контору приказано. Вот Фомушку требуют и нас всех с ним.

– А-а! Па-анимаю... – заговорил Недоуздок про себя. – Учить, значит...

– С шабринскими, что ли, угостился? – спросил недовольно наблюдавший за ним Лука Трофимыч. – Не след бы... И без угощений ихних беда на тебя из-за каждого угла налетает.

Недоуздок счел ненужным отвечать и доказывать неосновательность павшего на него подозрения: он знал, что был почти пьян, но только не от вина. Он присоединился к товарищам и снова погрузился в разрешение ка-

ких-то таинственных вопросов.

В канцелярии полувоенного ведомства долго сидели пеньковцы по скамьям передней, вздыхали и смотрели, как солдаты курили махорку и играли у ночника в три листика.

Часа через полтора пришел высокий, толстый, бакастый господин, в полуформенной одежде. Сверкнув глазами на пеньковцев из-под фуражки, он, не снимая ее и бросив с плеч на руки подскочившим солдатам шинель, прошел быстро в дальние комнаты.

Минут через десять раздался по комнатам повелительный и несколько охриплый окрик:

– Фома Фомин! Здесь?

– Здесь! Фома Фомин, который? – засуетились солдаты.

– Сюда! – крикнул опять голос.

Солдат повел Фомушку через неосвещенные комнаты на голос. Фомушку била лихорадка, но не от боязни, а от развившейся болезни.

Дверь за ним затворилась, и все смолкло.

– Пеньковцев! Сюда! – раздался опять го-

лос.

Тот же солдат ввел пеньковцев в комнату, где сидел перед столом, покрытым клеенкой, разбросанными бумагами, шнуровыми книгами, с медною лампой с тусклым абажуром, полуформенный господин, погрузившись внимательно в чтение каких-то листов. В стороне стоял Фомушка. Пеньковцы боязливо и бегло взглянули на него: лицо его было красно и лихорадочно пылало, губы дрожали.

– Вы кто? – сверкнул на них взглядом, на секунду подняв от бумаги голову, полуформенный господин.

– Крестьяне, ваше бл-дие.

– То-то. Мужики?

– Так точно-с.

– Я вас спрашиваю: мужики?

– Они самые будем-с, – упавшим голосом ответил Лука.

– И больше ничего? Мужики молчали.

– Ничего больше? – тоном выше переспросил полуформенный господин.

– Так точно-с... То ись...

– Без всяких «то ись»! Помолчали.

– И вы это звание свое помните хорошо?

– Довольно хорошо, ваше бл-дие.
– Плохо, я говорю.
– То ись... Ежели... Ваше бл-дие.
– Без «то ись»! (Тоны повышаются crescendo.) Плохо, говорю я.

Пеньковцы замолчали.

– Если вы забудете, кто вы и что вы (взор полуформенного господина молнией проносится по пеньковцам), тогда... Это что значит? – вдруг прерывает он себя, обращаясь к Недоуздки. – Что это значит? Я тебя спрашиваю! (Указательный палец допрашивающего начинает внушительно тыкать по направлению ко рту Недоуздки, у которого в углах губ начинается какая-то игра.)

– Не могу знать, – отвечал Недоуздки и стыдливо утер широкою ладонью усы и бороду.

– Ты не утирай, не торопись, братец... Что это у тебя выражает?.. А? Он всегда так смеется? – спросил быстро пеньковцев бакастый господин.

Пеньковцы посмотрели на Недоуздки.

– Не примечали, ваше бл-дие.
– Скажите, какой смешливый!.. А?.. Сма-ат-

ри, братец!.. Сма-атри!.. Как прозываешься?
(Допрашивающий берет карандаш.)

– Недоуздок.

– Узду пора!.. Слышишь?

Полуформенный господин что-то бегло начал писать.

– Если вы забудете, кто вы и что вы, – проговорил он после небольшого молчания, растягивая слова, – так вот он вам скажет, – он показал на Фомушку. – Ты передай им, – прибавил он ему. – Ступайте!

Пеньковцы вышли. Молча и медленно по-двигались они к квартире. К Фомушке, однако, не навязывались с расспросами, оттого ли, что щадили болевшего товарища, или оттого, что очень хорошо знали, в чем состояли бы его ответы.

– Петра, – проговорил Фомушка, – ослаб я. Подведи меня.

Недоуздок взял его под руку.

– Ты не бойся, Фомушка... Ничего! – успокаивал он его.

– Чего мне бояться? Господь с ними! Пущай учат, коли любо.

– Что за грех такой, Фомушка?.. И за что это

нам остраску задали? Ась? – осторожно спросил Лука Трофимыч.

– Тот... с крестом-то... толстый...

Губы Фомушки задрожали, застучали зубы; лихорадка опять забила и не дала договорить.

В квартире Фомушку приняла «беглая бабочка».

– Э-эх, старичка как ушибло! – ворчала она. – Ушибло старичка совсем. Не нужно бы ходить, говорила я. Сбегайте-ка, родные, за водкой, натрем мы его! – говорила она, укладывая Фомушку на нары.

– Братцы, тяжело мне! – простонал старик.

– Что, Фомушка, велено тебе сказать-то нам? – спросил опять Лука Трофимыч, как будто боясь, чтобы он не испустил дух.

– Пустите! Зачем кушак? И зачем вы кушаком меня окручиваете? Только что сняли – и опять кушак...

Фомушка забредил. Лука Трофимыч боязливо отошел и перекрестился.

Долго и угрюмо сидели присяжные в этот зимний вечер в округе.

«Оправили»

Фомушке становилось хуже; идти ему в суд – нечего было и думать. Хозяин начал сердиться и посылал в больницу. «Беглая бабочка» неустанно ходила за больным: spryskivala его «святыми целеньями», призывала к голове примочки из разведенного в водке снега, подавала ему пить. Пеньковцы были ей рады, так как могли совершенно спокойно оставить больного на ее попечении. Сами они пошли в суд. Лука Трофимыч искоса и пристально наблюдал за Недоуздом, который так необычно вел себя, что, не будь он на ногах, можно бы было принять его за больного одною с Фомушкой болезнью: он или задумчиво молчал, или говорил что-то про себя, отвечал невпопад и несообразно совсем.

В суде народу было сегодня немного, только «свои», судейские. Приходили какие-то господа с барынями, посмотрели на вывешенное у залы заседаний расписание дел и, прочитав, что на сегодня назначено к разбору дело о по-

кушении на поджог малолетнего крестьянина Петра Петрова, 16 лет, махнули рукой и ушли. Подсудимый был худой, с тупым и равнодушным взглядом мальчик лет пятнадцати; он так был мал и сух, что казался еще моложе; белые волосы у него острижены были в кружок и падали на лоб, он не поправлял их; ушедшие глубоко в орбиты глаза следили одинаково равнодушно и за судьями в мундирах, и за мужиками-свидетелями, и за дремавшим и клевавшим носом у двери залы сторожем, обязанным отпирать и запираť залу во время разбора дела. Он даже очень долго и пристально всматривался в ружье стоявшего с ним рядом солдата и так был занят, казалось, мыслью разузнать и превзойти всю хитрую механику курка, что не один раз заставлял председательствующего повторять вопросы. Отвечал он односложно, беззвучно. Свидетели, пятеро его одноподверженцев, из которых один был староста, другой сотский, постоянно выказывали желание отвечать за него, подсказывали ему, вроде того: «Петька, не трусь ты; чего трусишь? Свой здесь!.. Говори: ваше, мол, высокоблагородие, виноват,

мол, точно, ну, а при сем... Ты, родной, смелее». А когда их председательствующий оставлял, они говорили между собой: «Глупыш еще!.. Не разумеет ведь... Что на нем взять?»

Присяжные, в числе двенадцати человек, все были крестьяне. Можно было предполагать, так как дело шло о поджоге, что защитник отвел богатых собственников, а прокурор, напротив, отвел тех из крестьян, которые казались на вид «нехозяйными»; но как большинство из тридцати человек все-таки были крестьяне, то состав исключительно и наполнился ими. Только купеческий сын попал в запас, чем и остался очень недоволен, так как дело было для него неинтересное, а приходилось «зря» быть внимательным. Из наших знакомцев вошли в состав суда: Бычков, которого, по грамотности, выбрали в старшины, Лука Трофимыч и один Еремей; прочие были незнакомы, и в число их попал и мещанин. Недоуздок и другие пеньковцы не пошли домой, а поместились на скамьях, назначенных для публики. Пеньковцы только в конце судебного следствия догадались, что подсуди-

мый мальчик был сын «беглой бабочки», а именно при показании одного из свидетелей, сотского, поймавшего его на месте преступления, о «буйстве» и «необстоятельности» его отца, от которого даже «женка должна в бегах состоять вот уж пятый год...». Из речи прокурора и защитника узнали они, что мальчик судится второй раз, так как решение первого состава присяжных почему-то было кассировано защитником, но почему именно – они никак не могли понять, ибо дело касалось какой-то хитрой юридической формы. Нашим присяжным, казалось, приятно было это случайное совпадение, и они весело переглянулись с пеньковцами, сидевшими в числе слушателей. Те тоже ответили им какою-то мимикой, дескать: «Вот он, бог-то!.. Ты и гляди... Каждый день бабочка понапрасну в суд ходила, ждала, а ноне, когда для богоугодного дела при мужике осталась, как нарочно господь на нас и навел... полосу-то». Пеньковцам нравилось и то, что суд шел скоро, без всяких «смущений». Прокурор и защитник не «травились». Медленно выплыли присяжные из совещательной комнаты и тем же торжествен-

ным шагом, каким обыкновенно идут в церкви к причастию, вышли перед судейскую эстраду. Бычков, до невозможности высоко подняв голос, прочитал оправдательный приговор. Пеньковцы, сидевшие на скамьях зрителей, были уверены в этом приговоре, но все еще боялись, что вот-вот председательствующий скажет: «Эх, вы! Разве так судят здесь, по-мужицки?.. Разве мужицкий здесь суд?» Когда же председательствующий поднялся и объявил: «Подсудимый, вы свободны; можете идти куда угодно», сердце у Еремея Горшка и Недоуздка застучало. Посторонняя публика вышла. Мещанин тотчас же, как ушли судьи, стремительно убежал «выжимать копейку». Дело «освобождения невинного» совершилось просто. Никаких восклицаний, восторгов. Пеньковцы и свидетели подошли к Петюньке.

– Ну вот, Петька, и молись за них теперь богу, – сказали свидетели, показывая на присяжных, – им скажи спасибо.

– Бога, малец, бога благодари! – откликнулись присяжные.

– Вот мы, брат, какие... так-то! – прибавил,

улыбаясь, купеческий сын и тоже радовался, забыв, при общем увлечении, что он нисколько в этом деле не повинен, а сидел «в запасе».

– Ну, а теперь, Петька, в деревню с нами собирайся. Опять заживем!

– Я не пойду.

– Да куда ж ты, глупый, пойдешь? Ведь так-то и на поселенье сошлют... Почему ж ты не пойдешь?

– Отца боюсь.

– Отца не бойся теперь! Теперь он сократился... Теперь кто ж ему над тобой власть даст? Теперь ты по закону слободен!

– Я птицу стрелять пойду... Ружье достану...

– Ах ты, глупый!.. Вот он – малец, так малец и есть...

– А где у тебя, милый, matka-то?

– Matka в бегах.

– Вот и matку тебе разыщем мы, – сказали свидетели.

– Так, так. Мы и еще тебя порадуем: пойдем с нами, мы тебе ее, matку-то, покажем! – говорили присяжные.

– А где она? Она далеко.

– Совсем близко. При нас она живет. Она за тебя бога упросила. Так вот все к матке и пойдем. Господа кавалеры теперь уж тебя отпустят!

– Нет, нельзя... Мы его должны в тюрьму представить, – ответили солдаты.

– Зачем еще... али мало?

– Мало. Пуцай попрощается. Тоже в чужой одежде нельзя. Казенное сначала вороти.

Солдаты встряхнули ружьями и, встав по обеим сторонам мальчугана, приготовились идти.

– Я не пойду! Пустите! Я убьюсь там, – проговорил «освобожденный» и заплакал.

В это время подошли к нему кругленький адвокат и судебный пристав. Заметив, слезы, они рассмеялись.

– Ты о чем плачешь? А? – спрашивает адвокат. – Недоволен мной, что я тебя освободил? А?.. Ну, как ты – не знаю, а я, брат, тобой доволен... Что ваш «товарищ»-то съел? – обратился он к приставу. – Ведь я говорил тогда, что кассация моя... Не хочет ли теперь еще со мной потягаться?.. Я так и быть уж, ради эдакого турнира, еще даровою защитой пожерт-

вую... Ну, о чем же ты плачешь? А? На вот на калачи... Да меня помни! – прибавил адвокат Петюньке и сунул ему в руку рублевую бумажку.

Пеньковцы утешили мальчугана и объяснили, где ему найти их и матку, когда он совсем разделается с тюрьмой. Затем все вышли. У трактира нагнали они двух купцов, сидевших «в публике». Купцы повертывали ко входу и что-то сердито объясняли третьему.

– Конечно, это одна выходит зрятина, – говорил один. – Какой к суду страх будет? Мы же тогда обвинили, а теперь мужики верх взяли...

– Суды совсем мужицкие. Мужик задолеет – беда! – заметил другой.

– Конечно, беда!.. Теперь, господи благослови, первым делом они сейчас поджигальщиков оправдывают! Да теперь поджигальщики для хозяйного человека хуже из всех! Разбойник сноснее! Им, голякам, ничего! Они что? Однопортошники, одно слово... Сгорел шалаш у него в деревне – печали немного: взял порты под мышку и поселился у соседа... А разве мы при нашем имуществе можем это стер-

петь?.. Судьи! Судилась бы гольत्याпа промеж собой по деревням как знала.

– Это так. Нам с ними, мужиками, вовек не сойтись. Им преступник жалостен, а нам – страшен.

– Постой теперь! Теперь только дворников да собак позубастей заводи... Ха-ха-ха!..

Сумрачно, сыро и холодно в избе постоялого двора. Скверная сальная свечка, вставленная в горлышко бутылки, воняет и едва светит каким-то красноватым светом. Фомушка лихорадочно мечется на нарах под дырявым полушубком; пеньковцы, понадев дубленки, или ежатся по углам, или бесцельно ходят с одного места на другое. В заднем углу нар «беглая бабочка» что-то копошится и шепчет около Петюньки, надевая ему на шею какие-то гайташки с ладанками. Петюнька сидит на лавке и, держа обеими руками французский хлеб, равнодушно жует и болтает ногами в большущих валеных сапогах. Недоуздок только что вернулся откуда-то; не сказав ни слова на недовольное ворчание Луки Трофимыча, подозревавшего его постоянно в сношении с Гарькиным и трактиром, он бросил в

угол нар, в головы армяк и растянулся, закинув руки за голову; Лука Трофимыч чем-то недоволен и ворчит; Еремей Горшок сидит на лавке, сложив на брюхе руки, уткнув нос в бороду и покачивая головой, не то дремлет, не то думает о чем-то с закрытыми глазами. Бычков сидит у стола и соскабливает с него ногтем сальные лепешки. Видимо, все недовольны чем-то, всем не по себе. Так бывает всегда после неполной радости, нарушенного удовольствия, обманутого ожидания или же когда грубая, неуклюжая пошлость ни с того ни с сего ворвется к человеку в особенно высокие минуты душевного настроения и бессовестно оборвет высокую струну чувства, начинавшую звучать в душе.

Как будто впросонках слышит Недоуздок, что пришли одноподеревенцы «беглой бабочки», староста, сотский и два крестьянина – народ по одежде, видно, бедный.

– Садитесь – гости будете! – приглашали пеньковцы, отодвигая от лавки стол. – Вот у нас хоромы-то какие, простор, да толку мало... Надули нас ловко. Тогда с вьюги-то показалось знатно тепло... Ну, а теперь господ-

ская-то печка не очень мужиков нежит!

– А мы вас насилу разыскали. Город. Народу всякого много.

Гости уселись по лавкам и стали говорить тихо, заметив метавшегося в лихорадке Фомушку.

– Болеет? – спросили они.

– Заболел. Въюга по дороге-то настигла.

– Вы в больницу.

– Не желает. Погодите, просит, может, еще не смерть мне... Думает: что завтра.

– Ну, а мы, Петька, за сапогами, брат, пришли, – говорил сотский Петюньке. – Скидавай сапоги-то. Что делать? У меня у самого одни они надежда. В кожаных-то по теперешнему времени недалеко напляшешь до деревни, да и те худые... Разом с беспальными ногами домой придешь. А ты вот получай свои узоры-то: в целости из тюрьмы выдали! – прибавил сотский, кладя на лавку растрепанные лаптишки.

– Стало, он в твоих сапогах-то? То-то больно уж велики.

– В моих. Чего! Пришел в острог-то, а ему и выйти не в чем; девять месяцев тому взяли

его в шугайчике да лаптишках – они и есть только. А шапка? – спрашиваю. А шапки, говорят, и совсем не значится. Ну, сходил на фатеру, принес вот ему валенки да шапку дойти до матери.

Стукнули о пол сапоги, – Петюнька освободил из них свои худые, маленькие ноги.

– Вот так-то, – говорил сотский, – а ты богат теперь. Вишь, какую кредитку тебе дал аблакат-то на калачи! И на сапоги изойдет.

Слышит Недоуздок, как после того заговорил что-то Фомушка и заметался.

– Старуха, – тихо выговаривает он, – подь-ка ты сюды... Вот подыми-ка ты меня немного... Ну, так, так! Расстегни-ка грудь-то! Вот здесь... Ах, руки-то дрожат!.. На-ко вот, купи ребенку сапожнишки-то! Ох, дело-то студеное... Долго ли до беды... А у нас какие ведь вьюги-то!

Слышно, «беглая бабочка» всхлипывает и уговаривает Фомушку.

– Э-эх... Зачем только руки мне связали? Руки зачем? – начинает опять бредить Фомушка. – Лесничок, лесничок, Федосеюшко, развяжи кушак-то, родной...

Все молчат и боязливо слушают. Некоторые крестятся. «Беглая бабочка» спрыскивает Фомушку святою водой.

Немного погодя Фомушка успокоился. Стали опять разговаривать.

– Говорят, здесь общество есть: помогает тем, которых освободят.

– Говорят, что есть. Ну, только хлопоты. Боятся они мужику деньги на руки выдать: пропьет, вишь! Так пойдут у них тут сначала справки от общества, потом когда-то пришлют в волость. А из волости когда еще выдадут; и то с вычетом... Рубля три, может, и останется. На руки не дадут: это и говорить нечего... А ведь есть-то теперь нужно... Вот и босиком-то тоже зимой не больно находишься!

– Хорошо, кабы выдали. Вот и нам, может, что-нибудь перепало бы, – замечают свидетели. – Два раза гоняли. А мы люди небогатые. Прожились тоже.

– А помногу выдают?

– Нет, совсем стали помалу... Говорят, присяжные-крестьяне больно много голяков стали освобождать. Эдак, слышь, не годится. Де-

нег не напасешься!

Опять бредит Фомушка. Невесело, вяло идет разговор про бедность, горе, несчастье. Кто-то опять заводит разговор с Петюнькой, чтоб повеселить компанию:

– Ну, Петька, рад, что домой пойдешь?

– Нет. Я не пойду, – отвечал Петька, грызя сухие баранки, которые сует ему в руку и за пазуху matka, тихо нашептывая: «Жуй, кровный, жуй со христом! Вишь, тельцо-то с тебя все посошло».

– В лес пойдешь? А? Птицу стрелять?

– В лес пойду... И мамку возьму...

– А мамку зачем?

– Отец убьет... Жалко...

– Мы отцу теперь не дадим бить.

Петюнька замолчал.

– А зачем раньше давали? – спросил он. – Все одно и теперь...

– Теперь мы его в холодную запрем.

– Из холодной он опять придет. А мы лучше с мамкой совсем уйдем.

– Вам нельзя. Земля за вами. Мы и пашпортов не дадим.

– Я в бега уйду.

– А чем жить будешь?

– Господи, помилуй нас, грешных, – прошептал Еремей Горшок, горячо молясь на сон грядущий.

Глава третья

Столкновения в округе и последовавшие результаты

I

Во что разыгралась метелица

В предшествовавшую ночь, когда Недоуздок безысходно путался в неразрешимых противоречиях «судейского положения» и Еремей Горшок склонял к полу пред образом свою лысую голову, в эту пору на другой половине происходила такая сцена. Всю ночь дворник то ложился в постель, то сползал с нее, то зажигал свечу, босиком подходил к двери присяжных и чутко вслушивался, то будил жену.

– Стефанида, а Стефанида! – говорил он, подталкивая ее в бок.

– Ну! – откликалась впросонках супруга.

– Оторопь меня берет, дура!

– Да побоишься ли ты бога, Савелий Филиппыч, ни одной ты мне ночи покою не да-

ешь!

– Эка глупая, – удивлялся дворник, – хозяин мучается, а она спокой!.. И как это у тебя язык повернулся сказать!.. Дура ты, дура!.. Вставай, богу молись!

Едва стало светать, как Савелий уже явился на половину присяжных.

– Почтенные, почтенные! – покрикивал он в дверях, боязливо поглядывая в угол, где лежал под полушубком Фомушка. – Эй, господа присяжные!

Присяжные стали подыматься: сперва показалось им было, что не проспали ли они суд, так как некоторым из них уже во сне виделось, как их штрафовали за неявку, но потом удивились, к чему их так рано будит хозяин, так как припомнили, что суда на сегодня, по случаю праздника, не назначено, и еще вчера располагали поспать подольше.

– Чего требуется? – отозвались они.

Но в это время полушубок на Фомушке задвигался, и Фомушка стал медленно подниматься, опираясь на сухощавые руки.

Почтенный дворник задрожал и, быстро захлопнув дверь, ушел к жене.

Дело было в том, что почтенный гражданин, содержатель постоянного двора, в котором судьба указала ютиться нашим присяжным, стал с некоторого времени бояться покойников. И чем старше и степеннее он делался, чем полнее росло его довольство, чем ближе настигал он вождеденный идеал мирного мещанского жития, тем эта странная болезнь одолевала его все более. И чего только супруга его не делала: и отчитывала его, и свечи в соборе ставила, и молебны служила, — ничего не помогало. На беду, двор их стоял на пути к кладбищу, и хозяину каждый день суждено было следить за отправляющимися в лучший мир гражданами. Почтенный дворник перебрался было с супругой в задние апартаменты, но мирные тени опочивших горожан не оставляли тревожить и здесь по ночам чуткий сон его. Много толков, по обыкновению, ходило по этому поводу среди слободских обитателей, вообще любителей отыскивать причины тонких психических болезней, известных у них под общим собирательным именем «нечисти» или просто «чертовщины». Рассказывали, что это началось с двор-

ником с тех пор, как в бытность его присяжным заседателем, в первую по открытии новых судов сессию, случилось что-то не совсем чистое: говорили, будто он запродавал свой голос; рассказывали также, что ночью около его дома нашли среди дороги замерзшего, видимо в пьяном виде, свидетеля, который, как все знали, остановился дня за два пред тем на его постоялом дворе, и пр. и пр. Но так как психиатрические исследования обывателей должны быть принимаемы крайне осторожно, то мы и оставим вопрос «чертовщины» открытым и перейдем к изложению более достоверных наблюдений. Заметим только, что с тех пор как слег Фомушка, почтенным дворником совсем «он обладал», как по секрету сообщала своим приятельницам его супруга.

Присяжные еще почесывались, сидя на облежанных местах, и вздрагивали от пронизывающего холода и сырости, как вошла к ним жена дворника.

– Почтенные, – заговорила она, – уважьте нас, уберите своего старичка.

– Что вам старичок, чего он, старичок, мешает? – вступилась «беглая бабочка» из свое-

го угла, торопливо подправляя под синий по-
войник выбившиеся седые косички. – Чем он
вашему благополучию поперек встал?

– Ну, об нашем благополучии тебе гово-
рить не подобает, сударка... А я тебе вот что
скажу: и тебе хозяин приказал убратся... Жи-
вешь ты без платы, поселилась без приказу,
того гляди умрешь – ишь вы какие с мальчон-
ком-то и теперь точно мощи! А здесь город...
Да и понятия тоже насчет смерти у нас дру-
гие...

– Не трожь ее... Мы заплатим, – сказал Лу-
ка Трофимыч.

– Что нам плата! Мы не из-за одной платы
живем... Мы не мужики... У нас и другая ка-
кая причина найдется, чтоб за свой покой по-
стоять. Вот за вашего старичка мы и от платы
от всякой откажемся... Нам, может, тысяч не
надо, только чтобы покой был... За тихий сон
мы всем пожертвуем... Мы городские...

– Что я вам сделал? Э-эх, люди! – отозвался
Фо-мушка.

– Ничего ты нам не сделал... Только покою
лишил... Мы своим покоем дорожим... А пото-
му в больницу ляг... В своем доме покойников

не можем допустить, чтоб сна они нас реши-
ли...

– Да какой он покойник?.. С чего ты?.. Вон ему ноне полегче, и ночь спал спокойнее... Чего вы мужиков-то заживо боитесь?.. Ведь тебе ноне полегчало, Фомушка? – спросили пенькояцы.

– Как не легче? Известно, легче... А ежели в больницу, так тут и смерть моя!

– Чего не покойник? Совсем покойник! – уверяла дворничиха. – Хозяин мой уж ежели скажет, так верно... Дня за три уж он об этом извещен бывает...

– Кто ж его извещает? – спросил Недоуздок.

– Ну, ты над этим зубы-то не скаль... Мужик – так мужик и есть неверующий... Правда говорится: гром не грянет – мужик лба не перекрестит... А вот теперь присяжный ты, так после и увидишь, что это значит... Вам еще неизвестно, каково по благородным должностям состоять...

– А присяжные-то тут при чем?

– А так: измывает душу-то... Да и детям-то своим закажешь. Да и жену-то с ума сведешь...

– Н-ну! Напастращены же вы, купцы!

– А я вот сказываю, чтоб ноне вы своего старика убрали. Без греха... Мы вам и лошадь приготовим... А коли нет, так все выбирайтесь подобра-поздорову... А тихий сон мне всех вас милее...

– Дай ты мне, милая, хоша денек отсрочки... Может, господь допустит, послужу завтра великому делу! – молил Фомушка, в душе которого едва заметное облегчение болезни вызвало вновь неудержимое желание «постоять за невольный грех человеческий пред царем и законом» и тем завершить дело своей жизни. Ему еще вчера снилось, как кто-то, *непознаемый*, приходил к нему и шептал: «Заклученного в темнице посети, страждущего успокой, жаждущего напой, за обличенного постой»... Может быть, это долетали до его слуха слова длинной и четкой молитвы «беглой бабочки», которая, ложась вчера спать, перебирала на сон грядущий все статьи того кодекса отношений к несчастным, который создал себе народ под гнетом тяжелых веков. Но все равно, так или иначе это было, только Фомушке после того снилось,

что он в суде, что стоит перед налоем с Евангелием и истово выговаривает: «Нет, не виновен!.. Господь с тобой!.. Молись за меня!» И на этом выражении всепрощения он проснулся и почувствовал, что ему как будто легче, как будто спал с него тяжкий кошмар горячечных видений.

– А ты полицией припугни!.. Чего тут еще канитель тянуть? Мы свой покой должны охранять! – раздалось за дверью.

– Опять *они*! – вскрикнул Фомушка, устремив свои серые, лихорадочно светящиеся глаза на дверь. – Они!.. Вот я их вижу... Вот толстый... И с крестом... Вот и этот... Зачем вы меня связываете? Зачем не допускаете?.. Милые, да разве я...

– Старичок, старичок!.. Смерть твоя тут пришла... Молись, что с твоим глупым разумом бог тебя от греха отвел...

– Опять! Слышу, слышу... Ум вам нужен, а душа не нужна... Божью грозу вы своим умом отвести хотите?.. Руку господнюю задержать?

– Господи!.. Отходит, отходит! – крикнула в страхе дворничиха, крестя себя широкими размахами. – Что нам будет делать?.. Почтен-

ные, прибирайте скорее его...

Б эту минуту дверь отворилась, и дворник высунул в нее голову.

– Что ж это?.. Доколе же ты будешь сказки-то сказывать? – выпрямившись, загремел дворник. – Али я в своем доме не хозяин?.. Али я дурак, что вы надо мной издеваетесь? – гремел он сильнее, почуяв, что в слове любви нет места «ужасному заклятию».

– Н-ну, теперь вези меня... – прервал его Фомушка. – Погодь одну минутку... Вот, братцы, здесь... возьмите поберегите... А умру – так... этому горю... на сапожишки...

Фомушка снял с своей шеи кошель и подал его Луке.

– Ну, снаряжайтесь... Пойдем умирать!.. Помогите натянуть полушубок-то...

Дворник хотел что-то еще прогреметь, но в комнату вошел околоточный надзиратель, и он быстро изогнулся в его сторону.

– Ваше бл-родие!.. Сам бог вас посылает. Сделайте милость, – заговорил дворник, – моей мочи больше нет... В своем доме покоя не имею...

– В чем дело?

– А вот господа крестьяне заразу распро-
страняют... Помилуйте, у нас тожа заведение,
место входное... Сделайте милость!.. А уж мы
вам... Жена!.. Что глаза-то пялишь? Живо – за-
кусочку господину приставу... Самоварчик
приставу... Самоварчик там, графинчик, гри-
бов, белорыбочки...

– А кто здесь без паспорту проживает? –
спросил полицейский. – Слух идет, что появи-
лась какая-то женщина, называющая себя
«беглой»...

– Беглая?.. Я, ваше благородие, беглая, –
отозвалась «беглая бабочка» и, хитро встав
перед полицейским, поклонилась ему в пояс.

– Ты по церквам ходишь?

– Хожу-с... Богу моему ежечасно служу...

– А в суде толкалась каждый день?

– И по судам ходила, ваше благородие.

– Собирайся... Тебя подозревают в покраже
половой щетки и калош у швейцара суда и
чайника с освященною водой из соборной
трапезы... Не видал ли кто из вас у нее этих
вещей?

– Не примечали, – сказал Лука Трофимыч, –
точно что водица эта самая церковная была у

нее. Старичка она нашего пользовала...

– Возьмите ее, – сказал околоточный солдатам.

– Извольте, ваше благородие... Я сама пойду, – смиренно проговорила «беглая бабочка», – потому я против заступницы ничего не могу... Угодно ей на меня еще испытание наложить, я смиряюсь, за грех свой... Сказано: за грех твой кровь твоя прольется.

И «беглая бабочка» спокойно начала укладываться в своем ранце. Проснувшийся Петюнька сначала глядел, ничего не понимая, широко открытыми глазами на полицейских, но когда один из них подошел к ним и крикнул: «Нечего прятать: все равно осмотр будет», – Петюнька заплакал.

– Мамка, зачем нас опять в острог? Не пойду я... Убейте меня... Убежим в лес, мамка...

– Не плачь, кровный... Не плачь... Это я уж теперь пойду... Ты уж отсидел свой черед... Теперь, кровный, тебе череда богу служить, мне терпеть... Так сказано...

– Мамка! А я куда?

– К богу, милый, ступай... К богу...

– Чего? – спросил пристав. – Да кстати, не

здесь ли Фома Фомин проживает? – обратился он к пеньковцам.

– Здесь-с.

– По заявлению окружного суда требуется освидетельствовать его болезненное состояние через доктора земской больницы... Фома Фомин, собирайся!

– Я-то? Я готов... Да зачем вы бабочку тревожите? А? Али вконец ее, исстрадавшую...

– Ты кто такой? – спросил полицейский.

– Я?.. Присяжный я, судья, – твердо выговорил Фомушка, даже с тем храбрым упорством, с каким иногда старики заявляют свои права на участие в жизни, в которой их песня спета.

– А вот сначала мы освидетельствуем... Нет ли у тебя чего-нибудь там, – повертел пристав пальцем около лба. – Собирайся!

– Готов я... Ведите! – порешил Фомушка, как будто сбросив со счетов жизни последнюю кость.

– Ну, и прекрасно, – похвалил пристав.

Городские сцены

В первый еще раз с начала зимы, утром нынешнего дня, солнце выглянуло из-за туч над городом и рассыпало целые снопы лучей и на белые, словно гагачьим пухом, покрытые мягким снегом кровли домов, и на тротуары улиц, по которым кое-где были протоптаны ранними пешеходами узкие тропки. День глянул весело; от бесконечно разнообразной игры света в снежных кристаллах приятно щекотало глаза, снег лежал так легко и мягко, что, казалось, достаточно было одного едва заметного дуновения, чтобы он вдруг поднялся с крыш к небу и там рассыпался в безбрежном воздушном пространстве. Легкий мороз поддурманивал щеки и, пробиваясь сквозь ткань к телу, бодрее гнал кровь в жилах, чутче и напряженнее делал нервы. В такой день тяжелая тоска овладевает сердцами тех, кого злая судьба приковывает к узкому, душному пространству, заключенному в четырех стенах, и тысячи таких

сердеч в эту минуту мучительно молят о свободе, о воздухе, стонут о жизни, о счастье...

Пеньковцы, ничего не привыкшие делать в одиночку, всякое дело решали скопом; так и в это утро, проводив всю артелью Фомушку в больницу, помещавшуюся за городом, медленно шли все они обратно, закинув руки за спины, распахнув широкие полы разлетаев, из-под которых виднелись красные кушаки, и уставив вниз бороды.

– Эко день-то какой – благодать! – сказал Бычков, любуясь на ярко блестящие от солнца свои кувшинные купецкие сапоги.

– Кабы в такой день привел бог путину нас справить, може, и Фомушка был бы цел, – заметил Еремей Горшок. – А то вот и запрятали в духоту, смрад... Какое здоровье!.. А как он просил: здоров, говорит, я... Я, говорит, при этом солнышке-то оживу...

– А завтра, может, и еще кого запрячем, – в раздумье говорил Недоуздок и потом, оглянув всех, усмехнулся.

– Кого? – спросил Лука Трофимыч.

– Кому тоже солнышко мило...

– Ты всегда, что ворона, непутное проро-

чишь, — отозвался с неудовольствием Лука Трофимыч, вообще имевший какой-то суеверный страх ко всяким «непутным словам», которые порождали в нем разные «предчувствия».

Пеньковцы повернули к базарной площади. Базар был сегодня небольшой. Несколько возов виднелось кое-где; с полсотни мужиков что-то горланили у кабаков, и кабацкие двери постоянно визжали, то и дело отворяясь. Мужики выходили и входили в них, с заломленными на затылок шапками, с рукавицами под мышкой; у всех широкие ладони были распростерты; на ладонях лежали медные пятаки, которые они деликатно пересчитывали и поворачивали корявыми ногтями. Бабы, стоя около них и боязно поглядывая на эти распростертые ладони, с трепетом следили за выражением мужицких лиц, стараясь уловить витавшую на них мысль... Но выражение мужицких лиц было непроницаемо, как у сфинксов, и не было возможности уследить тот момент, когда «хозяева», утомленные долгими расчислениями и соображениями, вдруг быстро складывали распростертые ладони,

опускали руки – и медяки пропадали от глаз жен в широких карманах, а мужья внезапно устремлялись к кабакам. Тут уж начиналась борьба. Бабы старались удержать хозяев за полы и рукава полушубков, разжалобить какими-то крикливыми нотами и напоминаниями. Но хозяйские ноги неуклонно шествовали к вожделенной цели. Такие толпы то там, то здесь рассыпались по площади, вполне поглощенные интересами «купли-продажи» и возможностью добыть малую копейку барыша для получения «хоть какого ни то для души удовольствия»... Пеньковцам понравилось на базаре. Пред ними проходили знакомые картины родственной жизни. Они переходили от воза к возу, прислушивались к торгам, к громкому похлопыванию широких ладоней; приценивались к муке, крупе, мясу, делали свои заключения. Они совсем увлеклись этими интересами. Даже мысль о «судейском положении» совсем вышла из головы пеньковцев.

Но в это время кто-то вдруг крикнул из толпы: «Везут! Везут!..» Все обратились по направлению, на которое указывал палец одно-

го из обозников. Пеньковцы тоже приостановились и стали всматриваться: из переулка, примыкавшего к торговой площади, медленно двигалась какая-то процессия, похожая на похоронную. Она направлялась к какому-то черному помосту, высившемуся на середине площади, с торчавшим одиноко столбом.

– Братцы! Эшахвот! – крикнули в толпе, и вся она устремилась к помосту.

Из прилегающих улиц, домов и лавок бежали приказчики, купцы, сидельцы, кухарки и лакеи, с кулечками, из которых выглядывали мерзлые лапы всякой живности. Покорные общему инстинкту толпы, как-то совершенно невольно, торопливым шагом поспешили за нею и пеньковцы. Многие из них в былые времена бывали свидетелями таких позорищ, когда им случалось посещать округу. А что это были за позорища, то им напоминали о них их «железные» нервы, которые на много лет сохранили в себе следы впечатлений... Вероятная жажда повторения подобных же ощущений невольно влекла их и теперь вслед за толпой. Толпа уже собралась вокруг помоста, а поезд еще продолжал подви-

гаться: две клячонки, едва двигавшие разбитыми ногами, казалось, не тянули черные дроги, а сами подталкивались вперед огромным дышлом, которое, мотаясь то в ту, то в другую сторону, увлекало их за собой; сгорбившийся старый возница в дырявом полушубке и в шляпе из собачьей шкуры с поднятыми вверх ушами дергал неистово вожжами, махал длинным промерзшим и обледенелым кнутом и вообще так усердно поощрял своих кляч, что от них валил пар. Тем не менее поезд ни на шаг не подвигался скорее: ни клячи, ни возница не могли сократить минут ожидания нетерпеливого чиновника в треуголке, махавшего белым носовым платком. Дроги, на летнем ходу, увязали в снегу, купались в ухабах, а замерзшие колеса не вертелись. Этапные солдаты ругались и грозились с возницей, то перегоняя, то останавливаясь поджидать слишком уж торжественно подъезжавший экипаж. Все это время толпа подсмеивалась над молодым «мундирным» чело-веком, одетым «налегке» и яростно бегавшим по помосту с портфелем под мышкой. Слышался говор:

- Каторжный?
- К каторге приписан.
- А кто такой?
- Убивец.
- Из здешних?
- Нет, дальний... Из артельных... С чугунок... На чугунке работала артель-то...
- С чего ж это?
- Разно болтают...
- Знамо, не от добра...

Наконец поезд приблизился настолько, что можно было рассмотреть сидевшего на дрогах. Толпа сотнями глаз уставилась на обвиненного: это был молодой, не особенно здоровый мужик; лицо худое, весноватое; жиденская бородка красиво обрамляла лицо; глаза полузакрыты; голова наклонена. При каждом ухабе, при каждом толчке он всем корпусом покачивался вместе с дрогами, как будто мускулы у него были расслаблены. За дрогами шли, спотыкаясь, две крестьянки с узелками: одна старая, другая молодая. Поезд заключал хромой, дряхлый старик с жиденской седой бородкой; он торопливо ковылял, что-то бормоча себе под нос, и широко разма-

хивал искалеченною ногой и толстою палкой, на которую упирался. Недоуздок весь был внимание; он не мог оторвать глаз от преступника, и чем ближе подвигались дроги, тем яснее ощущал он какое-то незнакомое ему прежде волнение: он не мог понять, отчего это с ним. Ему припомнилось, что он то же самое видел лет пятнадцать тому назад; но тогда была «кобыла», тогда он сам был мал... Недоуздок невольно бросил взгляд на помост: на нем «кобылы» не было. Между тем, пока сходил с дрог преступник, пока молча делались приготовления на помосте, кучка любопытствующих обступила хромого старика и двух женщин.

– Сродственники будете? – спрашивали их.
– Родные... Сын будет.
– Ай-ай-ай! Горе какое! Что же это с ним у вас?

– Божье дело! Божье дело! – проговорил старик в изнеможении, обеими руками упираясь на костыль и низко опустив голову. Он тяжело вздохнул раз, другой и остался неподвижен: казалось, натрудившиеся члены застыли.

– Старик, а старик! Дяденька! Скажешь, что ль? – приставала к нему какая-то бойкая торговка.

– Оставьте его! Чего пристали?.. Видите, чай, тут горе замерло! – сказал кто-то.

Пеньковцы обернулись к старику: он стоял неподвижно, и только костыль подрагивал у него в руках.

Но бойкая торговка не унималась. Она допрашивала крестьянок. Крестьянки плакали и робели пред толпой.

– А ты не бойся, рассказывай... Нам ведь что!.. Нам только что из любопытства! – поощряли любопытные торговки.

– Недоимошники мы, – начала несмело старуха, – а у нас недоимошники все от мира в работу сдаются артельщикам... Артельщики за них подати внесут, а они к ним в работу, в правленье, приписываются. Хошь не хошь – идешь... Артельщики их на чугунки справляют... На пристани... Так случилось, что нашего что ни год – к одному артельщику приписывали... Говорили мы волостному: «Осlobоните хошь годок, домом не справимся». А у него детки пошли... Жена молодайка... Ну, од-

наче, угнали... На чугунке они землю рыли... Осень стояла бедовая... По колени вода, в сараях – холод... Хворь пошла... Наш и подговорил артель убежать.... Прослышал он к тому, что артельщик похвалялся его молодайку смутить... Ну, бежали... Тут их вскорости поймали, на место опять вернули... Две недели их запертыми держали, потом на работы вывели... Тут приказчик этот над нашим надсмехался... А к вечеру его, артельщика-то, в яме нашли. Голова проломлена. Говорят, это Ванюша-то его...

Внятно слушали этот рассказ пеньковцы, между тем как глаза их пристально всматривались в «недоимошника». Он стоял у позорного столба, голова низко наклонена к груди, глаза закрыты; он не смотрел ни разу на толпу.

Только что мундирный человек начал читать, как откуда-то взявшийся изорванный «картуз» в валеных калошах вдруг крикнул, расталкивая толпу:

– Посторонитесь, посторонитесь! Присяжные здесь! Господа присяжные! Вперед! Преступник поднял голову.

– Братцы, уйдем! Грех нам здесь стоять! – сказал Лука Трофимыч и перекрестился. Пеньковцы тоже перекрестились и, повернувшись к эшафоту, наклонив головы, вышли из толпы.

– Ванюшка!.. Что ты не потерпел, глупыш? – раздалось сзади их тихое восклицание, тут же поглощенное надорванным плачем.

Они обернулись: неподвижная фигура хромого старика отца стояла в той же позе, только все тело теперь вздрагивало, словно внутри его что-то переливалось. Еремей Горшок еще раз истово перекрестился.

В эту минуту присяжные сознали, что они уже с некоторых пор потеряли связь с «толпой».

Пеньковцы неторопливо опять двинулись было по Московской улице, как неожиданно сзади их раздались знакомые голоса:

– А это наши!.. Пеньковские... Гляди-кось!

– Они самые!.. Земляки! – окрикнул их голос. Пеньковцы обернулись; к ним подходили двое фабричных с широкими улыбками, махая руками.

– Вот оно, бог-то привел где! – сказали и пеньковцы, озарившись тою же улыбкой. – Давно ли вы здесь?

– Почитай, полгода работаем... Вы как?.. Домишки наши что?

– Бог терпит пока.

– Ну, коли терпит, жить можно... Живы?

– Живы, все живы.

– Хлеб-то есть?

– Есть. До святой, так думаем, дотянем, ежели поосторожней... Ну, а там...

– Там мы пришьем... Скажите, чтоб не жалось очень-то... Мы по десятке вышьем, при-

купят... Ну, и слава те, господи!.. Больше хошь и не спрашивай! А вы как здесь? Вот здесь и забыли совсем... Очень уж рады вестям-то... Давно не получали...

– Мы здесь повинность правим...

– Присяжную?

– Присяжную.

– Ну-ну!.. Судьи, значит, вы теперь почетные! Вот как!.. И ты, Петра, в судьях?

– Как же!

– Рад?.. Эх, хоть бы разок когда судьей побывать! – заметил один из фабричных.

– Радости мало, брат. То же и мы сначала-то полагали...

– Ну-у? Что так?

– Тяжело...

– Тяжело? – удивились фабричные.

– Недовольны нами. Плохо, говорят, мы судим... Судили бы, говорят, по деревням, а то в город залезли. Только и слышишь: серяки да серяки-неотесы... Дураки сиволапые.

– Пуцай их! Вам что? Собаки лают – ветер носит... Вы вот не привыкли... А нам так это совсем нипочем. У нас своя гордость есть-то же рыло всякому не подставим!

– Это так... Да главное дело в том, как тебе в ушито постоянно трубят, что ты глуп, так и сам привыкнешь, и самому тебе думается. Какой ежели и был умишко, и тот потеряешь, и в тот веры решишься. Спознать-то себя времени не дадут. А уж ежели веру в себя потерял, какой уж тут судья!.. Грех такому судье быть!

– Какой уж тут судья! – согласились фабричные. – Да что мы, братцы, на холоду-то стоим!.. Это на радостях-то!.. Ну, дураки же мы... Земляки, пойдемте, хоть мы вас чайком попоим...

– Нет. Зачем же? – проговорил трусливо Лука Трофимыч.

– Что вы, братцы!.. Как «зачем»? Ведь нам не вчастую приходится чай-то с земляками распивать... Нынче ж праздник.

Присяжные и фабричные направились к трактиру политичного гласного.

– А у нас несчастье, – говорили пеньковцы по дороге.

– Ой? Не дай бог! Что такое?

– Старичка вот мы сегодня в больницу свалили... Настудился по дороге. Фомушку-то, знаете?

- Как не знать... Это благодушного-то?
- Он, он самый!
- Экая жалость! А уж кому быть судьей, так это ему... Как же так? Неуж пешком вы?
- Пешковыми.
- Ну, за это мы вас не похвалим. Всегда вы, деревенские, прижимисты. Человека не познобили бы...
- Точно, что поприжались немного... на этот раз, Недоимку внесли... Потрава тут у нас случилась, так судились, судились...
- Чай, поди, вдесятеро с писарями в кабаках пропили, как суды-то шли?
- Нет, оно точно что – капиталов мало.
- Нам бы отписали... Мы на это дело не стоим! Через год, что ли, очередь-то придется? Али у нас денег нет! – шутливо ударил один из фабричных по карману с медяками. – Нас не обижайте!

Все улыбнулись, как улыбаются на героя-ребенка, храбро выступающего в бумажном шлеме с деревянной саблей.

- Братцы, неравно старичок долго проваляется в больнице-то, вы уж присмотрите за ним. Понаведаетесь.

– Что вы говорите!.. Разве мы не мужики?.. Нас не обижайте... Мы бы вот, пожалуй, и к себе взяли его, да у самих такие бараки, что ни день – в больницу таскают... Кабы дворцы-то наши получше были, да хоша малую отдышку при работе, так жить можно... И молодух бы выписали. Мы не требовательны... Скажите молодайкам: ждут, мол, управляющий сменится, полегче будет; с бабами, слышь, жить будет можно... Управляющий новый, слышь, хозяина уговорил, что рабочий при бабе вдвое здоровее... И лекарь тут молодой приехал – тоже рассказывает, что хозяйну вдвое наработают, коли ежели рабочему хошь часок лишний отдышки при семействе дать да малую копейку на эту семью накинуть...

– Так... Так... Скажем... Рады будут... Так при бабах-то работа спорее?

– Много спорее. Теперь наш брат сколько денег по слободам тратит – страсть! А опять притом болезнь тащит. Фабрике тоже убыток – больные-то. Это все лекарь высчитал. Скажите: мужья, мол, вам, бабы, из городу наказали, чтоб вы как можно за этого лекаря

молились. Не умолите за него бога, – и мужей вам, мол, не видать.

– Скажем, скажем. Они на это дело не постоят, лба не пожалеют. Лишний раз попам поклонятся. Они и так без нас такие-то ли богомолки стали, – шутили присяжные.

– Тут взмолишься! Да, земляки, не зайдем ли к нам, благо по пути? Вот только сейчас в переулок, тут около пруда и дворцы наши... Зайдемте. Посмотрите, как мы живем. Лучше рассказывать будете в деревне. Да и других наших, може, встретите, те тоже рады будут землякам.

– Что ж, мы с радостью. Время способное...

Все земляки Пеньковской волости повернули в переулок.

Пеньковцам беседа с земляками становилась все отраднее. Они были несказанно рады, что встретили близких людей в далеком, незнакомом городе, которым можно передать свои мысли и ощущения, с которыми могли потолковать от сердца, освободить души, переполненные несознанными, смутными впечатлениями.

* * *

Едва только прошли пеньковцы два коротких переулка, как свежее обоняние их тотчас дало знать, что завод близко.

– Вы кожевники ведь будете?

– Кожевники. Али уж наша-то амбра в носшибанула?

– Приметно.

– А мы привыкли.

Когда прошли третий переулок, пред ними открылся кожевенный завод – огромное трехэтажное, с маленькими и частыми окнами, здание, кирпичное, почерневшее. По бокам и сзади стояли деревянные сараи серо-дымчатого цвета, с низкими фундаментами и высокими, готически-двухъярусными крышами. Пред фабрикой и кругом было грязно, неприглядно; несмотря на зиму, снег был перепачкан и забросан всякою дрянью; невдалеке был пруд, на котором пробито несколько прорубей. Около главного здания почти никого не было, зато у ворот, ведущих во двор, была толкотня. Фабричные то входили, то выходили поодиночке и толпами, медленно и лениво, видимо, без определенной цели: войдут, пройдут несколько шагов, по-

топчутся на месте – и опять назад. На дворе то же самое. Двор лежит между деревянными флигелями, длинный и узкий; вдоль его, слева, тянутся кладовые, над ними сначала идут, во всю длину зданий, деревянные галереи, с протянутыми вертикально жердями, на которых висят провяливающиеся кожи, а затем высятся высокие крыши, с поместительными и свободно вентилирующимися чердаками. На дворе вонь становится еще невыносимее, а грязь от кожи и всяких обрезков так велика, что почти незаметно снега. Во флигеле, по правую сторону, те же галереи с кожами, хотя в нем отведены помещения для рабочих. По двору снуют рабочие, видимо, без толку; все они одеты по-праздничному – в синие кафтаны, новые картузы и шапки; у многих видны чистые рубахи, разноцветные шерстяные шарфы на шеях, но, заметно, они сами не знают, для чего вырядились: это было вроде того, как если бы съехались разодетые гости на давно ожидаемый бал в предвкушении приятного отдыха, веселых впечатлений, и вдруг им объявляют, что получена телеграмма о смерти близкого к дому лица, и хозяева вне-

запно уехали. Потолкнутся, потолкнутся гости с вытянутыми физиономиями, скажут две-три остроты насчет «брённости земной жизни», кисло улыбнутся и разъедутся опять коротать вечер по домам. Незаметно и признака здорового, реального развлечения. По лицам ясно, что у всех бродит неопределенно тоскующая, «неустойчивая» мысль: такое состояние разрешается или отупением, или дикою выходкой. Вот идут навстречу один другому двое рабочих; у обоих в пригоршнях орехи; оба лениво грызут и еле передвигают ногами, оба как бы не замечают друг друга и сталкиваются. Орехи сыплются на снег. Ругань, а затем здоровый хохот. Весело обоим. Вот бросились рабочие на чей-то крик: рады скандалу.

- Бьют кого-то! – говорят пеньковцы.
- Что там? – допрашивают рабочие.
- Расправа... Опоек Васька стащил.
- У нас часто, – замечают земляки пеньковцам, – с вечера все спустили, а нынче на промысел. Ну, да у нас до суда не доводят всего-то. А то бы вам со всеми и не управиться.

У ворот еще раздаётся чей-то крик.

– Убью!.. Подступись! – кричит какой-то ра-

бочий, размахивая правым кулаком, а левой рукой обнимая какую-то женщину.

– Ловок больно! Всем скучно! – кричат из толпы.

– Убью, говорю! Только подступись.

– Ха-ха-ха! Попалась Дунька в лапы...

– Долго ли до греха!.. Д-ах! – покачал головой Еремей Горшок.

– У нас даже очень недолго. Мы вам говорили. У нас тут из-за солдаток такие баталии идут. Ну, земляки, теперь зажимай носы-то! – предостерегали фабричные, поднимаясь по широкой и убитой натасканным снегом лестнице в один из флигелей, где помещались рабочие.

Действительно, для непривычного человека вонь была нестерпимая. Во флигеле по стенам шли нары. Свет проходил только с одной стороны, и то плохо: окна были малы и заплесневели. Вентиляция в помещениях для кож была лучше, чем здесь.

– Лекарь этот, – говорили рабочие, – на том стоит, чтобы нам на вольных квартирах жить. А то, говорит, мы чистого воздуха не вдыхаем. Спросили нас; мы говорим: привык-

ли, не чувствуем... «Дураки, – говорит, – вы эдакие! Привыкнуть нос ко всякой гадости может, да здоровью-то от этого не лучше...» Такой чудак! А славный! Вот это он же о бабах-то хлопотал... А то вот поглядите, какое у нас веселье! – показали они в противоположный угол нар.

Там было человек пять рабочих. Среди них сидела растрепанная толстая женщина с покрасневшимся лицом; она старалась повязать платок, но сзади кто-нибудь шутя сдергивал его.

– Черт хромой! – любезничала женщина, тузя кого-то кулаком в спину.

– Ха-ха-ха! – хохотали кругом. – Палагея Петровна, желаете, я вам унтера подпущу? – предлагал кто-то.

– Подпусти, подпусти! – поощряли прочие.

– Попробуй! – огрызалась женщина.

«Унтера» подпускали, и все разражалось хохотом.

Проходя дальше, пеньковцы-фабричные наткнулись на чьи-то ноги.

– Нну-у!.. Это – Опенок! Что ж вы человека-то не подымете? – обратились они к сидев-

шим у окон двоим молодым рабочим. – Недолго, чай!

– Пробовали, дерется... Не подыдем.

Рабочие с пеньковцами подняли подпившего работника и положили на нары.

– Тоже вот! – рассказывали фабричные. – Был когда-то человек, а теперь, того гляди, сгинет.

– Что ж он?

– Очень об жене затосковал... Тоже ребятишки есть. Выписал было он их сюды, вольную квартиру снял. Все было спервоначалу хорошо шло. На ребятишек радовался, – мы их так и прозвали *опёнками*... Месяца два протянул, а там, глядит, не в силу... Заработка не хватало... В деревне отец, земля – работницу надо... А жену взял, нужно работника на-нимать. Думал, думал – никак не натянешь; опять в деревню проводил. Сам к нам перешел и затосковал, пить начал. Чертит во всю мочь, а разве на это наших денег хватит?

– Вам бы его в деревню, к земле отпустить.

– К земле хорошо... С землей греха меньше...

– С землей – божье дело...

– Это так. Да ведь и от земли-то уйдешь, коли она не прокормит. Он теперь все ж как ни то управится с податями-то, а уйдет в деревню – волком вой.

Пеньковцы подошли к поместившемуся у окна рабочему. Он был худой, низенький, почти мальчик; но по бороде и старческому лицу ему было лет тридцать. Он лежал на животе, опершись на локти и подперев руками голову; под носом у него лежала книжка с лубочными картинками; он внятно и мерно читал, закрыв ладонями уши, весь погруженный в какой-то волшебный мир, который вызвала перед ним лубочная сказка.

– «И от-вер-жонный любовник упал к ногам прелестной... Ельми-ры...» – истово выговаривал он.

– Это у нас грамотник, – рекомендовали пеньковцам, – рассказчик первейший! Сколько это он сказок знает – страсть! Другой раз попросим его – он и начнет!.. Начетчик! Не здесь бы ему быть!

– Что так?

– Умрет скоро... Вишь какой! – тихо прибавили фабричные.

Вот из дальнего угла раздалась гармоника: кто-то присел у дверей и, смотря в упор в окно, наигрывал со всем усердием камаринскую. Игрок ничего не замечал кругом себя; он, кажется* не чувствовал и своей музыки. По устремленным вдаль глазам приметно было, что его мысль витала где-то далеко отсюда.

– Зачем баб сюда водите? – вдруг окрикнул кто-то веселую компанию, подпускаящую «унтера». – Ведь сказано, что полиция запрещает...

– Это, Ван Ваныч, землячка.

– Все у вас землячки.

– Ей-богу! Из самой соседней слободы...

– Выбирайтесь, выбирайтесь!

– Мы только маненько поиграем, Ван Ваныч! Ей-богу.

– А это что за народ? – обратился к пенковцам допрашивавший седой старик с длинной бородой и выбритой маковицей, – очевидно, раскольник.

– Это земляки, Ван Ваныч.

– Опять земляки! А по-прежнему – кож не хватит, кто в ответе?

– На них не грешите, Ван Ваныч... Они – судьи...

– Судьи!.. Судьям-то нечего по фабрикам таскаться да с фабричною вольницей якшаться. Сидели бы по домам. А то наслушаются тут наговоров: то нехорошо, другое нехорошо. После только и слышишь: «Нет, не виновен!» Мы-де с судьями земляки! Нам теперь что!.. На замок бы запирать судей-то, чтоб они не шлялись да во все нос не совали...

Старик прошел дальше и долго еще что-то ворчал густым басом.

– Это кто будет?

– Это дядя нашему хозяину-то. Шишига как есть Сторожей не заводи: лучше пса хозяйское добро бережет. Каждый день с петухами встает да рабочих усчитывает. Ни минуты на работу не запоздай. Руки опустишь, сейчас приметит – штраф!..

– И в самом деле идти бы нам, – сказали пеньковцы.

– Что ж, посидите. Вот других-то земляков никого не видать. Ну, да мы скажем; они сами к вам забегут.

Посидели. Разговор не клеился.

– А у вас, точно, тоска...

– Не весело. С этой больше тоски и грех-то бывает. С ней и головы теряют. Жен нет, ребятшек тоже – к кому поластишься? Душа грубеет.

Скоро все вышли из флигеля на вольный воздух.

– Ну вот, землячки, и посмотрели наше житье-бытье... Каков заводский праздник? – говорили рабочие.

– Не очень чтобы весел.

– То-то и есть! Как тут в слободы не зайтишься? Ну, а теперь уважьте нас: примите от нас угощение... И нам с вами веселее будет.

Пеньковцы-присяжные и фабричные вошли в трактир политичного гласного.

IV

* * *

В трактир пеньковские рабочие вошли как «свои люди» и без стеснения начали располагаться на средней половине.

– Туда бы! – мотнули головами присяжные на серую половину.

– К чему? Мы не люди, что ли? А вам себя и подавно нечего унижать – нам стыд.

– Вы, фабричные, храбры.

– Мы себя знаем.

По случаю праздника в трактире много было народу, и наших присяжных не скоро заметили. Им это было по душе, только Недоуздок и Бычков то и дело заглядывали на чистую половину, где заметили Гарькина и шабринских, сидевших среди «господ». Это из ряда вон выходящее обстоятельство очень их интересовало.

– Наши бородачки-то... вишь ты! – показал Бычков на шабринских.

– Это все Гарькин их мутит, – заметил Лука Трофимыч. – Кабы не он, разве бы они полез-

ли?

– И вам бы так нужно. Вы наши судьи, – сказали рабочие. – Лезть незачем, а прятаться по углам тоже не к чему.

– Способнее, – объявил Еремей Горшок.

Подали чай. Земляки повели беседу. Теперь уже рабочие отбирали вести во всех подробностях; пеньковцы обстоятельно им докладывали; выступили на сцену Матрены, Дарьи, Авдотьи, дядья Ферапонты и Наумы, тетки, отцы и матери крестные, пока не перебрана была почти половина деревни. Может быть, от родни дело перешло бы к началству: старостам, писарям, но вполне «обстоятельному» разговору помешали какой-то приказный и мещанин, усевшиеся за соседним столом с полуштофом водки. Мещанин, должно быть, давно признал в пеньковцах присяжных; он несколько раз негодуяще что-то ворчал и порывался встать с места, приходя в сильную ажитацию от разговора, который ведут присяжные.

– С-судьи!.. Ха! – взывал мещанин, с горькою иронией подмигивая приказному.

– Я тебе не раз говорил, – утешал приказ-

ный. – Одры! Я с ними принял муку, как старшиной был; благородного судили, чиновника! Пойми: титулярный советник. Ты можешь понять?..

– Да нет... Я вас спрошу, можете ли вы, – вдруг вскакивая и не обращая внимания на приказного, налетает мещанин на пеньковцев, искоса презрительным взглядом окидывая чашки, – можете вы понять, ежели... «адва-акат», «эксперты», «предупреждений совети»... теперича опять «юрист»?

Мужики сердито молчат и, стараясь не смотреть на мещанина, усиленно хлебают с блюдец чай.

– Калачиков бы, хозяин! – спрашивает один из рабочих.

– «Калачиков бы»! – передразнивает мещанин. – С-судьи!..

– Софрон! Оставь! Плюнь! – говорит приказный.

Мещанин отходит, раздражительно подбирает полы чуйки и садится перед приказным.

– Выпей, – говорит ему приказный, – а потом, если ты хочешь, чтобы я с тобой водку пил, слушай меня. Первое дело – обвинение в

мошенничестве. Я говорю: примите вы в резон, что он титулярный, – за что ему чин дан? Кто дал? Вы, говорю, подумайте, умные головы, кто это ему такой чин дал? Разве даром дают чины? Притом же он это сделал при своей бедности; потому он не может, чтоб у титулярного советника дочь полы мыла, а на фортепианах первая игральщица! При его превосходительстве, в личном присутствии, в дворянском собрании на благородных концертах играла. Так вы, умные головы, из деревень-то повылезши, эти дела перекрестившись обсуждайте, поопасливее... А они что?

– Что? – переспрашивает мещанин, снова начиная волноваться.

– Одры! Вот что!.. Два часа битых... из сил выбился... пот прошиб... Бился, бился – ничего не поделаешь... Ну, думаю, пускай! Так – так-так... Согласен, говорю, я с вами... Взял и подмахнул этот самый вердикт... Вышел, читаю: «Нет, не виновен»... А они подумали, подумали да как бухнут: «Мы, – говорят, – так несогласны были...» Всех и вернули опять, нового старшину выбрали... Н-да, вот они какие!.. Ты вон послушай, что они говорят: Матрешки да

Дуньки – это они знают хорошо... Это им по губе... А ведь у нас здесь «цивилизация». Понимаешь, Софроша?

Но мещанин опять не вытерпливает.

– Вы откуда будете? – грозно спрашивает он пеньковцев, наморщивая брови.

– Мы-то?.. Мы из-под Горок.

– Горские! Так и есть, слава известная!.. Не вы ли двух крестьян с козой при царе Горохе судили?

Некоторые из гостей начинают прислушиваться.

– Нет, крестьян не судили.

– Не судили? Кто же их судил? Вы судьи-то!

– Кажись, тебе, слободская кость, лучше знать про козу-то, – сказали рабочие.

– Чего?

– Лучше тебе про козу-то знать. Коза – мещанину сноха. Кого хочешь спроси!

В публике хохот.

– Калашники! – ругается сконфуженный мещанин.

– Ну-ну!.. – вступились рабочие. – Али нас не узнал?.. Мы ведь, брат, не деревенские...

– А слышали, братцы, что приказный про

господ-то рассказывал? – сказал Еремей Горшок.

– Слышали, а что?

– То-то, мол... Это он верно. Мы вот тоже опасаемся. Слышь, придется скоро барчука судить, двуженца.

– Так что ж?

– То-то опасно. Бог их знает: ихняя душа нам потемки. Проштрафиться недолго.

– Это так, – подтвердили фабричные. – Вот мы вспомнили: было здесь такое дело, было. Рассказывали тогда по городу: из-за этого самого один присяжный мужичок в бега ушел.

– В бега? – переспросили присяжные.

– Совсем убег... Поискали, поискали – так и бросили.

– Что ж это с ним?

– А так: веры в себя решился... Очень уж мужичок-то был смирный да богу крепкий.

– О господи! – вздохнул Еремей Горшок. – Вот какие дела. Да бывает временем таково тяжело, что точно себя решишься.

В это время пеньковцев заметили с «чистой половины».

– А!.. Еще присяжные!.. Нужно предста-

вить! Нельзя! – кричал «градский представитель», имевший особенную страсть к представительству и всякого рода представлениям, толстенный, коротенький человек с розовыми, раздувшимися щеками, среди которых пропадал маленький нос пуговкой; он был в коротком узком пиджачке, который словно впивался в его рыхлое тело. – Нельзя! – кричал он. – Петя!.. Саша!.. Господа присяжные, вот рекомендую: местные адвокаты... Кандидаты прав, – рекомендовал он пеньковцам, показывая на двух братцев-адвокатов, в бархатных визитках, пивших у буфета на брудершафт, – вот-с они, петушки... Защитники наших интересов... Вот-с каких жеребцов вырастили... Все на городском фураже-с воспитывали! Еще по тридцати лет нет, а уж животики округляют... Ха-ха! Вот они какие нынче, нашито ученые, не чета прежним, что сухопарыми цаплями ходили! А что касательно пушку, так вон, посмотрите-ка, какие вяточки у ворот стоят! Послужи нам – мы наградим!

Градский представитель пришел в совершенный восторг и до того увлекся, что начал что-то сообщать на ухо подвернувшемуся

Недоуздку, хитро подмигивая на братцев-адвокатов.

– Так и споил, не глядя, что брат? – спрашивал Недоуздок.

– И споил! – восторгался представитель. – А дело было совсем труба. Как он его это накатил коньячищем (сам-то он крепок, Саша-то, ну, а Петя послабже будет), уснул тот, а Саша в суд, да к нотариусу, да пока тот спал, он все имение (князя какого-то) и заложил в тридцать тысяч... Ха-ха! А последний срок был! Проснулся Петя: «Ну, – говорит, – пора бежать в суд, как бы не опоздать запрещение наложить на княжеское имение, а то мои доверители-кредиторы ничего не получают». – «Не торопись, – говорит, – Петя, я заложил уж!» – «Когда?» – «А вот, пока ты спал». – «И не известно тебе брата спаивать? Ведь я тебе поверил...» – «Это тебе наука: вперед будь умнее...» Вот это так действо. И опять – как родные.

– Ну, и что ж они, эти ваши-то братья, только по денежным делам али и всех защищают?

– Они всех. Кого хочешь. Да, признаться вам сказать, кабы не они, так с нынешними

судами – беда! Прежде знал, с кем дело имел, а нынче где судью-то искать будешь? Деньгами нынче не возьмешь. Вот ваш брат норовит все с обуха пришибить... Примерно купца вам засудить ничего не стоит. Вы в резон коммерции не принимаете. Тут одна надежда – на них. Напустят они этого туману мужикам в глаза...

– Нынче этому туману-то, почтенный, не очень даются. Спервоначала, может, и было, а теперь таких дураков мало, – заметил один из фабричных.

– Конечно, что... Мужичьи суды...

– Каких же бы вам, почтенные, судов нужно было, коль нынешние нехороши?

– Завсегдательских! Вот то суды!

– Хороши?

– Первый сорт! Примерно выбрали от словий года на два, на три кого, ежели поstepеннее, и спокойны... И знаешь, что тот уж настоящий судья, к нему и обращаешься, ему и почет такой. Да и сам уж он в этом направлении себя держит, а то – нынче лапти продает, завтра судит, а послезавтра свиней пасет...

– Обидно купцу стало крестьянское вели-

чанье, – заметил тот же фабричный.

– А подумаешь, нет? – накинулся на него представитель. – Нам, горожанству, одна полоса назначена, вам – другая. Так ты того и держись, и не суйся. Я еще говорить-то буду с тобой подумавши. Вот что! А то смешали всех... Земство! А сколько теперь город наш на мужиков зря денег переплатил? Одно это только неудовольствие... Мужики сдуру что сделают, а тут на всех мораль. Доблестное дворянство али степенное купечество вашим величаньем умаляйся! Величанье! Нет, ты сначала заслужи! Мы за медали-то наши, может, сколько капиталов ввалили, а при чем они теперь? Храмов божьих настроили, градских богаделен, богоугодных зданий, украшений города – чье все?.. Все забыли... Мы, говорят, тоже мосты мостим! Ха-ха!..

– С чего же, друг почтенный, огорчился? Мы тебя не обижали, – сказал Недоуздок.

– Мы давно обижены.

Между тем на «чистой» половине, где собрались представители почти от всех сословий: купцы-присяжные и неприсяжные, чиновники, купеческий сын, шабринские, два

коммерсанта, содержатели трактиров и водочных заводов и сам туз горожанства, замечательный только удивительною бородой-монстром, которую он, в то время когда ел и когда говорил «речь» в городской управе, ловко затискивал за борт жилета, с неизменным своим спутником «градским» архитектором, – шли такие разговоры:

– Согласитесь, – выкрикивал Саша, обращаясь к купеческому сыну, у которого все лицо лоснилось и блестело от какого-то удовольствия, как лоснились и его потертый сюртук, и старый жилет, и широчайшие тиковые штаны, – согласитесь: присяжные, представители общественной совести, и вдруг помещаются где-нибудь в харчевнях, питаются неудобоваримыми продуктами! Тогда как они должны иметь светлый взгляд...

– Прохарчка-с – это точно, – заметил купеческий сын, переходя за спину Саши.

– Прохарчка? Что такое прохарчка?.. Тут важно, чем мы с братом мотивируем. Брат, поди сюда! В чем главный мотив? Тут мотив важен. А какой мотив? – спросил Саша, уставив пристальный и даже сердитый взгляд на

купеческого сына. – Позвольте предварительно спросить: у нас теперь что такое присяжные?

– Присяжные? – вдумчиво переспросил купеческий сын. – Все отцы семейств, смею доложить, – вдруг решил он. – Супруги, малютки, хозяйство оставлены на произвол, смею сказать, на четырнадцать ден-с без при-смотру...

– Да я не в том смысле... Присяжные во все время сессии у нас разобщены, не имеют связи с обществом, им неизвестно состояние общественного мнения по делу... От них скрыты симпатии и антипатии общества...

– Ежели к тому вести, конечно, что не мешает... Сначала ежели разузнать...

– Вот то-то и есть... Исходя из этих соображений, мы, я и брат, благодаря инициативе госпожи Штукмахер, дамы опытной в деле благих начинаний (она уже основала общество попечения о лицах «по суду оправдываемых» – слышали?), мы и решились приложить всевозможные старания, чтобы основать эдакий кружок, где могли бы предварительно всякое преступление...

– Преступное деяние, мой милый! – поправил, подходя, Петя. – Ну да, одним словом, обмен идей...

– Это верно-с... Только, извините-с, не каждому, осмелюсь сказать, по карману...

– Уж это будет дело общественной благотворительности. Нам уже обещано.

– Ежели так, очень даже приятно-с. Потому, как именно вы это сказали, много веселее... Насчет взгляду-то.

– Обещано!.. Вот почтенный гражданин Павел Павлыч... (Знаете?.. Нет? Познакомьтесь... Он теперь на поруках, но это одно недоразумение... Мы все это рассеем.) Он помещение даже предлагает в своем доме. Госпожа Штукмахер своим личным участием... Наш достоуважаемый, наконец, Петр Петрович...

– Ну, ты там, Сашенька, не заговаривайся... Я, брат, ничего тебе не обещал, – отозвался туз с «чистой» половины.

– Как не обещали? Ведь вы же согласились, что инициатива для нашего города необходима, – говорил Саша, подходя к «чистой» половине.

– Это, брат, не я, это губернатор...

– А сами просили еще написать доклад в управу!..

– Доклад, пожалуй... А только не обещаю, брат, на городское иждивение принимать...

– Да ведь выгоды-то какие! Мотив важен-с!

– Вот, впрочем, хочешь калачей? Могу обещать.

– Шутите!

– Ничего не шучу... Все же хоть калачи, чем по дворам ходить... А то вон один пейзажник ко мне пришел наниматься дрова рубить...

– Ну, смотрите, – крикнул Саша. – Я на вас пожалуюсь госпоже Штукмахер!

– Да говори! Гуманничать!.. Знаю я, как она гуманничает на чужие-то калачи: мужа ей хочется в председатели земские втереть! Успокой ты ее, бога ради, скажи: очень, мол, рады, примем с радостью, без калачей. Только бы он из «невменяемости» не выходил, так для нас это будет рай... Руки нам, по крайней мере, развяжет...

– Вот Петр Петрович сказал слово к делу! – вскричал представитель, замахав руками. – Рублем подарил!.. Что значит голова так голова!.. Дай я хоть поцелую... Хочешь? Да мы за

этим Штукмахером все вернем!.. А то, господи благослови, первым делом мы для души спасения богоугодных для города заведений на-строили, а они – в земство!.. Да с чего ж это мы мужиков-то лечить обязаны? И теперича опять разговор про кормежку...

– Полно ты, буржуа эдакая бородатая! – фамильярно заметил Саша и прибавил ему на ухо: – Прошлым годом кто после побоища-то по постоянным дворам бегал да помещение со столом предлагал?

– Да, дурашка, разве это вчастую?

– Ну, и не в редкость... А ты лучше помолчи, если не понимаешь мотивов!

– Ну, конечно, дурашка, ведь я не юрист! Мотивы! Черт вас возьми! Пойдем лучше по доппелькюмельцу пройдем...

– Господа! Однако вы-то как же относитесь к нашему почину? – спросил Саша, подходя к пеньковцам. – Вы слышали?

– Слышали.

– Ну, так как же? Крестьяне молчали.

– Нам не требуется, – ответил наконец Лука Трофимыч, дотянув с блюдечка чай и отодвинув с решимостью от себя чашку.

– Как «не требуется»? – удивился Саша, тонко пародируя «мужичий жаргон». – Вам-то и «требуется» главным образом... Мы так полагали, что скудость ваша...

– Мы обеспечены...

– Кто же вас «обеспечил»?

– Сами, обществом...

– Но ведь, должно быть, не всех обеспечивает «общество», когда присяжные принуждены колоть дрова...

– Не знаем... Не слыхивали нешто...

– «Не слыхивали нешто»! – заметил туз архитектору на «чистой» половине. – Понимаешь? Тоже стыдятся.

– Это-с, Петр Петрович, и скверно, что мужику стыдиться позволено... Я знал это еще по своим крепостным: коли стыдится – значит, самый опасный мужичонко... Так у меня на этот счет строгая система была: я подвергал его сначала осмеянию, наряжая в шутовские костюмы, заставлял доить коров какого-нибудь бородача, мыть телят и прочее в таком роде. И, могу сказать, достиг цели: даже девки стыд потеряли. Такие козыри стали – любо глядеть.

Саша пожал плечами и отошел на «чистую» половину.

В эту минуту шум на «чистой» половине вдруг смолк: стали к чему-то прислушиваться. Заинтересовались и пеньковцы, но в особенности Недоуздок: он уж давно наблюдал за Гарькиным, который был сегодня особенно игрив и развязен, польщенный вниманием «почетных» гостей. Он сидел против толстого, высокого и массивного, с грубым и широко-скулым лицом, чиновника, очевидно пользовавшегося на «чистой» половине особым авторитетом, что отражалось во всей его фигуре, в его внушительных побрякиваниях, многозначительных «гм», которые он произносил в ответ на обращаемые к нему вопросы. Гарькин и купеческий сын давно подобострастно уживались около него.

– Вы, так сказать, среди мужиков «столпы», – говорил авторитетный чиновник густым басом и особенно напирая на букву «о», едва заметно обращаясь к Гарькину.

– Именно-с, – подтверждал Гарькин кивком головы.

– Вы, собственно, устои, на которых дер-

жатыся обычаи...

– Так точно-с.

– Дедовские обычаи... Вековые...

– Совсем верно-с!

– Так вы должны между нами и темными мужиками составить, так сказать, звено...

– Завсегда-с.

– Вы обязаны им внушать...

– С удовольствием!.. Помилуйте-с!.. Мы ежечасно-с... И мужички нас слушают...

– То-то и есть. Ведь они глупы...

– Случается-с...

– Вот теперь двуженца будут судить...

– Нда-с.

– Дело это для вас будет темное. А мы знаем доподлинно, кто он такой, этот двуженец!

– Сама-азванец! – крикнул от буфета пьяный купец, у которого с бороды текли потоки водки и падали кусочки приставшей икры.

– Лицедей! – поддержал его представитель.

– Мало!.. Он у меня в училищах был, сына от торговли отбил, дочь непокорству научил... Жена посты забыла...

– Братцы! Собирай шапки, – заторопился

Лука Трофимыч, перепугавшись. – К дому пора.

– Погодить бы. Любопытно, – заметил Бычков.

– Непочто... нечего! – строго заметил Лука Трофимыч.

Пеньковцы вышли, а Недоуздок подвинулся ближе к «чистой» половине. В его воображении начинала создаваться драма, которая где-то когда-то родилась из отношений, так напоминавших его собственные к Орише. Ему сильно захотелось выследить суть этой драмы до конца.

«Смущение»

Молча вернулись пеньковцы на постоянный двор, молча отобедали и затем расселись по углам: каждый из них как будто сосредоточился в самом себе. Впечатления этого дня не были, как прежде, одинаковы для всех пеньковцев... Обстоятельный Лука Трофимыч, против обыкновения, не мог заснуть после обеда и долго, так что успело почти совсем смеркнуться, не переставал вздыхать и говорить такие речи:

– Ну вот, здравствуй! Еще ни уха, ни рыла не видя, а уж, господи благослови, наслушались всего, нагладелись! В мужицкие-то головы уж успели туману напустить. Надурманились! Э-эх, мужики, мужики!.. А Недоуздок вдосталь теперь этого дурману-то набирается, должно... Чего там остался? Примем еще мы с этим мужиком муки!

– Ловкие, парень, эти городские, – высказался наконец Бычков. – Пальца в рот не клади – укусят! Что в зубы попадет – назад не вы-

рвешь... Нет! Вон они как насчет своих-то правое собачатся... Ловко! Ах, чтоб...

– Небось не нам чета, что из медвежьих углов повытаскали. Нас как липку обдери со всех сторон – и не услышим... Лука! Ты слышал, какие такие есть наши права? – спросил Еремей Горшок.

– А вот погоди – узнаешь. Здесь научат.

– Узнаешь! Глянь, ан в деревню-то и совсем без нравов придешь... Ха-ха-ха! – засмеялся Бычков.

– Это вернее, – боязливо промолвил молчаливый Савва Прокопов, хотел что-то еще прибавить, но испугался, пожевал губами и опять смолк.

Станный мужичок был этот Савва Прокофьич. Многие, видевшие его смиренную фигуру среди присяжных, пожимали плечами; одни считали его выжившим из ума, другие говорили, что он «забываться стал», третьи просто считали его сонулей. А Савва был когда-то заведомый балагур, увлекательный сказочник и для выражения своих мнений не считал нужным выжидать благоприятных случаев. Давно то было, – еще когда Савва Проко-

фьич звался Савкой, – сидел Савка в лесу со своею невестой. Кругом – тишь лесная, над ними птицы чирикают; заяц один-другой выбежит из-за куста, посмотрит – и тягу; еж, по-беспокоенный в минуты своего дневного сна, пробежал, ничего не видя, и врезался всею тонкою мордочкой в муравейник. Савке было хорошо: расходился Савка, стал Савка вольные мысли перед своею невестой высказывать, рассказал Савка веселую штуку про то, как барин к горничной пробирался. Увлёкся Савка – и вдруг: а-ах! Дикий крик вырвался у Савки, он схватился за голову и отскочил как раненый зверь. Пред ним стоял барин в охотничьем костюме, в одной руке ружье, в другой нагайка... Два года он не видал после того своей невесты, его услали в дальнюю деревню.

Зажила у Савки голова... Опять Савка балагурит, опять рассказывает перед собравшеюся на деревенскую улицу толпой: «А вот, братцы, слышно, нам волю прислали», – начинает он и пускается в запуски за своею неудержимою фантазией описывать какие-то такие вольные времена, что у самого дух захватывает.

«Ну, рассказывай, рассказывай! Хорошо рассказываешь! Любо! Ей-богу! Какой, братцы, у вас увеселитель есть! Редко такие бывают!» – вдруг раздалось сзади него. Он обернулся – за ним стоял становой... «Ну, что же ты, каналья, замолчал... А?» – крикнул становой. Задрожал Савва. Долго где-то был, где-то сидел Савва, так долго, пока не разучился сказки рассказывать.

Пеньковцы молчали.

Вдруг Бычков засмеялся опять.

– Дураки, одно слово – дураки! И хвалить не за что! – заговорил он и как-то нервически-торопливо заходил по комнате.

Обстоятельным мужиком овладело подозрение.

– Дорофей! Да ты что? – спросил он.

– А так... Тоска!

– Какая тоска?

– А я тебе вот что скажу: больше я быть дураком не желаю, Лука Трофимыч! Так ты и знай, – проговорил внятно Бычков, нервически подтягивая кушак и ища картуз.

– Ты куда?

– Будет! Довольно плевали нам в боро-

ду-то! Пора и себя опознать, что тоже люди... Пора в ум войти! – отвечал Бычков и надел картуз.

– Постой!.. На беду бежишь!..

Бычков на минуту поколебался, но инстинкты деятельной натуры в нем уже заговорили. Он отворил дверь. Навстречу ему входили двое шабринских.

– А-а! Папашенька!.. Али куды собрались? – спросил, входя, низенький мужичок, с помятым лицом, масляными глазами и длинною, свалывшеюся в косицы рыжей бородой.

– Нет, никуда, – ответил Бычков, повесил на гвоздь фуражку и сел в дальний угол, не снимая верхней одежды.

– А мы к вам! Скучно одним на фатере. Признаться, мы тоже струсили малость: вина этого теперь очень много в трактире... Пармен Петрович, Гарькин-то, не пуцал было, да думаем: ему, умному, и вино в пользу, а нам, дуракам, с ним не всегда сладить, с вином-то...

– Падки вы на него, – заметил сердито Лука Трофимыч.

– На вино-то?

Бычков из угла пристально всматривался, как Лука Трофимыч неторопливо и осторожно чиркает спичкой по китайцам; вот он зажег огарок; огарок долго не разгорается, рыжебородый шабер сморкается на сторону и долго, основательно вытирает нос полрой кафтана; другой шабер сидит, вытянувшись, не сгибаясь, и тоже пристально смотрит, как зажигает Лука свечу и не может зажечь.

– Вино-то, – опять повторяет рыжебородый шабер. – Верно, папашенька... Я вот тебе, свет ты мой ясный, расскажу про него...

Шабер начинает что-то рассказывать. Бычков смутно слышит или вовсе не слышит.

– Как что скажет – так и будет, потому он умник, всякое слово ихнее понимает, – вслушивается Бычков, как рыжебородый шабер рассказывает пеньковцам. – Вино!.. Нет, папашенька, ты дальше смотри, где *евойная* власть-то, этого Гарькина... Ты вот что посуди: он у нас над двадцатью селениями, может, владыка, всякий у него в руках, всякий от его ума пропитывается... Вот мы, папашенька, и достаточнее других, а скажем так, что и весь достаток у нас им же держится...

Потому: большому кораблю большое и плавание; большому уму и весло в руку... Ты по-годь, папашенька, что я тебе скажу, – убеждал рыжий мужичок. – Вот мы, положим так, в зависимости от него... Так будто, точно, не можем ему перечить... А ты вот спроси его, Архипа Иваныча... Он человек вольный, сам – сила... А спроси его: почему он ему послушен?.. Потому, папашенька, ум! Так ли я говорю? А? Вот он, Архип-то Иваныч, и денежный мужик, и благожелательный, и сколько у него теперь этих несчастненьких привечено, сколько он теперь бедной родни у себя держит, – мужик от всего мира уважаемый, – а спроси его: почему он у Гарькина денно сидит?.. Потому, скажет, умом его не наладуешься? Всякое дело он тебе знает, всякому делу толк даст... Так ли я говорю? А? Всматривается Бычков в шабра Архипа сквозь красноватый полусвет свечи. Это – широкой кости, железных мускулов человек, гигантского роста; рыжая грива, закинутая на затылок, открывает его высокий лоб. Мощь и сила так и бьют в каждой его мышце. А между тем по лицу этого геркулеса расплывается благодуга.

шие, робость, смущение: он весь вечер не знает, куда убрать свою шапку, куда деть свои длинные ноги и руки. Это – гигант-ребенок. Даже глуповатость проглядывала в нем.

– Это точно, – говорит Лука Трофимыч, – не очень похвально это. Их дело, так скажем, дело пропойное, – показывает Лука на «папашеньку».

– А-ах, папашенька!

– Нет, ты погоди; что верно, то верно.

– Н-ну, папаша, – с горечью от такой незаслуженной обиды выговаривает «папашенька».

– А ты, Архип Иваныч, и в самом деле, с чего с ним якшаешься? Чего ему покорствуешь?

– Это Гарькину-то?

– Да.

– Гм... Умен!.. Сила ума! – говорит Архип застенчиво.

– У тебя своего-то нет, что ли?

– Столько нет... У меня ум в тело ушел, в силу, что у быка... А он в ум растет, он не жи-реет.

– Так это ты ему и веришь во всем?

– Верю.

– А обманет?

– Он нас не обманет. Мы за него покойны. Я с малых лет с ним братаюсь, он меня не обманывал, учил.

– А что ж сам свое дело не заведешь, чем у него денно торчать?

– Не могу... Пробовал... У него – любо: фабричка это орудует, машины, за всем сам глядит... Все у него колесом. Везде знает... Живой человек! А я не могу, – повторил Архип Иванович и в смущении почесал свою рыжую гриву.

– Так ли, папашенька? А? – заговорил опять шабер. – Вот он где, корень-то... Дальше его ищи... А то – вино!.. Вон они теперь все с господами беседуют... Обчество, вишь, какое-то заводят... Барчука одного, слышь, скоро судить, так они вперед уж об этом деле столкуются... А мы что, сидя здесь, узнаем? Много ли? Придем на суд-то: хлоп, хлоп ушами – и все. Обвиним – виноваты и не обвиним – виноваты... Так должны ли мы их слушать?

– А где Недоуздок? – спросил Лука.

– Это ваш-то молодец? С ними! Мысленный мужик. Он до всего допытается... А по-

чет-то им какой!.. Тоже ведь городские-то знают, у кого сила в чем... Вот и почет этой силе, и вера, и правда у нее.

Бычков схватил картуз и быстро вышел в дверь.

– Дорофей!..– крикнул ему вслед Лука Трофимыч. – Убег!.. Двоих теперь нет!.. Смутили!..

– Кто его, папаша, смущал? Что ты?

* * *

Сальная свечка трещит. В избе полумрак. Шабры ушли, потому что после огорчения обстоятельного мужика беседа ни под каким видом не могла вестись благодушно. Лука Трофимыч раздражен: скорбит и читает длинное нравоучение своей артели. Молчаливый Савва Прокофьич усердно слушает, зажмуря глаза. Горшок душеспасительно вздыхает и наконец сообщает:

– Бегуны, слышь, бывают.

– Че-ево? – с ужасом переспрашивает обстоятельный мужик.

– Бегуны-то, не даром, мол.

– Какие бегуны?

– А вот обыкновенные: присяжные бегуны.

– Ну, еще что? Да-альше!

Лука Трофимыч едва сдерживает свою обстоятельную скорбь пред явною необстоятельностью Еремеевой речи.

– То-то, мол, не даром. Своя душа дороже.

– Ну, ну!.. Придумай еще что!

– И убежишь...

– Ну, еще вали! У нас с тобой хватит головы-то!

– И в самом лучшем виде: наденешь валенки да и уйдешь.

– Дурья твоя голова! – крикнул Лука Трофимыч. – Аа-ах! Не согреша согрешишь, прости меня, господи! – одумался он. – Тьфу! Плевать! Бегите! Будет мне больше маяться... Все бегите!

Лука берет полушубок и решительно кидает его в угол нар, под голову.

– Ведь это мы к примеру... Как ежели, значит, к случаю... А то что нам до этих бегунов!.. Пуцай бегут, – утешает Еремей.

Лука молчит, лежа на нарах лицом к стене. Это мужикам не нравится и наводит на них разные предчувствия.

– Лука, не дури, – говорят они ему. От Луки ни звука, ни послушания. Еремей думал, ду-

мал и... надумал молиться.

VI

«Засудили»

Тем этот день и покончился. На следующее утро всякие недоумения, встречи, столкновения этого дня изгладились из памяти пеньковцев; в суде начались усиленные занятия; пеньковцы выходили рано, приходили после вечерень, а то и позже, несколько усталые, с туманною головой от постоянно напряженного внимания. «Судейское положение» вошло в колею; ничто постороннее «не смущало» более пеньковцев, а сам Лука Трофимыч успокоился окончательно. Беседовали они только между собою, за ужином, да разве кое-когда завернут шабры или земляки; разговаривали большею частью о решенных в суде делах, и то коротко, несколькими замечаниями. Затем рано ложились спать, утешая себя тем, что они теперь «служилые люди».

Наверное, такими исправными «служилыми людьми», такими честными и искренними исполнителями возложенного на них «ве-

ликого ответного дела», по посильному убеждению своей совести, вернулись бы они в свои родные Палестины, с сознанием, что они «ни против людей, ниже против господ бога дураками себя не оказали». Но одно обстоятельство несколько нарушило такой обычный мирный исход дела, хотя нимало не изменило общих результатов их «судейского положения». Обстоятельство это произошло опять от столкновения пеньковцев с «цивилизацией», постоянно приносившей им столько «смущений».

* * *

Серенький ноябрьский день, с самого утра хмурившийся все более и более и, наконец, охвативший весь город какою-то мглой миллионов хлопьев снега, крутящихся в необузданном вихре и разгуле ветра, по-видимому, нимало не располагал губернских обитателей к сильным ощущениям. Будь это в иные, «старосветские» времена, ни один обыватель не вышел бы в такой день на волю: мирно засели бы они за карточные столы вместо канцелярии, утешая себя, что за подобное занятие в служебные часы «в такой дьявольский денек

и сам бог не взыщет». Но мало ли что было в старосветские времена. Много воды утекло с тех пор. Появились какие-то «гражданские доблести», какие-то «гражданские обязанности», а главное того – забрались в душу какие-то смутные опасения «в ненарушимости», опасения за мирное и безмятежное житие, явилась потребность самосохранения, «охранения» этого мирного, непостыдного и безгреховного жития... И вот в то время, когда, как говорится, в былые времена благонамеренный гражданин паршивой собаки со двора не выгнал бы, теперь сам этот гражданин летит в суд, невзирая ни на вьюгу, ни на сугробы, завалившие его пути сообщения, ни на забившийся в рукава и за воротник его «енотки» мокрый снег.

Серенький день, тщетно с самого утра старавшийся побороть некоторым подобием света туманную мглу снежной вьюги, готов был погрузиться в полные сумерки, а благонамеренный гражданин все еще не выходил из суда, и его лошади, стоявшие у крыльца, продолжали еще вздрагивать, волнуясь гривами и хвостами, развеваемыми ветром. Кучера

успели выкурить по несколько трубок на крыльце и не раз сходить в ближайший кабак под нотариальной конторой. Сторожа в передней тщательно осмотрели, исследовали и даже оценили все медведки, енотки, польские и иные бобры, которые сегодня невзуряд собрались в таком огромном количестве под их присмотр.

Зала судебных заседаний уголовного отделения была полна. Двери в приемную были раскрыты; публика свободно ходила из залы в буфет, из буфета в залу. Во всех было заметно напряженное ожидание; очевидно, что присяжные еще не вынесли приговора. В зале стоял какой-то смутный, но сдержанный гул, в котором все еще продолжала напряженно звучать томительно изнывающая струна «благонамеренных опасений».

– Охранят или не охранят? – гадают благонамеренный гражданин, закрыв глаза и стараясь свести один на один свои указательные пальцы.

Но в этом гуле звучали и иные струны.

На одной из скамеек шел сдержанный разговор.

– Это – риск, – говорил горбоносый господин, – только риск необходимый.

– Но ведь, согласитесь, здесь главным образом затрагивается непосредственное чувство справедливости, – возражал белокурый, красивый его собеседник с бархатными ресницами, с бархатными баками и с «бархатными» глазами.

– На непосредственность здесь рассчитывать невозможно. Да и что такое «непосредственное чувство»?.. Не прирожденное же оно правосудие.

– Вы, Сергей Владиславич, слишком мрачно смотрите. Вы пессимист.

– А вы... оптимист?

– Кто же прав? – спросила, пытливо окинув их взглядом, сидевшая рядом с горбоносым господином молоденькая дама.

– Я думаю, что я, – отвечал ее сосед.

– Так, значит, ты... против? – дрогнувшим голосом проговорила молоденькая дама.

– Против... кого?

– Против *них*? – кивнула дама едва заметно к пустым креслам присяжных.

– А ты против *того* и *той*? – утрюмо про-

мычал пессимист, показав глазами на подсудимого и скамью свидетелей, где сидела женщина и несколько мужчин.

– Значит, без исхода? – едва выговорила молоденькая дама и вдруг вся вспыхнула от сильного волнения.

– Пока – да.

– Следовательно, эти должны быть жертвой?

– Да. Чтобы просветились *те*, должны погибнуть *эти*...

Скрипнула боковая дверь. Глаза всех обратились на нее. Молоденькая дама лихорадочно откинула вуаль, нагнулась всем корпусом вперед и как будто замерла. В дверь один за другим выходили медленно присяжные: три купца, учитель духовного училища, купеческий сын, Гарькин, трое шабринских, Недоуздок, Савва Прокопов и Еремей Горшок. Пока они неторопливо устанавливались перед эстрадой судей, в зале было глубокое молчание. Слышалось поскрипывание сапог; из чьей-то груди вырвался подавленный вздох и замер. Купеческий сын Сабилов держал вердикт. Присяжные установились; Сабилов покло-

нился судьям, кашлянул и начал скороговоркой, раскачиваясь всем туловищем за каждою фразой:

– Виновен ли подсудимый, кандидатского университета, в том, что, получив ложные сведения о смерти своей жены, с которою он не имел совместного жительства, воспользовался этим и вступил в другой брак с девицею NN, то есть сделался двоеженцем?

Здесь купеческий сын неловко кашлянул и поперхнулся. Потребовался платок. Пауза была томительная.

– Да, виновен! – не сказал, а выкрикнул как-то Сабилов, поклонился еще раз, подал председателю вердикт и, весь красный, обливаемый потом, обернулся к публике.

Присяжные направились к своим местам. Едва они сели, раздался слабый, болезненный, одинокий крик. Вздогнул Недоуздок. Тишина внезапно порвалась, и по залу пронесся сдержанный глухой ропот. Осужденный, бледный, бесстрастными и широко открытыми глазами глядя на присяжных, опустился бессильно на скамью. Около скамьи свидетелей хлопотливо сутились горбоно-

сый господин, принимая стакан с водой от пристава, белокурый бархатный красавец и молоденькая дама. С госпожой NN был обморок. Все время, пока судьи совещались о «мере наказания», Недоуздок упорно и неподвижно смотрел на подсудимого. Казалось, он или припоминал что-то давно забытое, или изучал и наблюдал новое, незнакомое явление.

Шумно расходилась многочисленная публика. Крестьяне-присяжные стеснились в углу. Недоуздок стоял рядом с Саввой Прокофьевичем.

Толстяк с орденом на шее поравнялся с пеньковцами, и Лука Трофимыч торопливо шепнул: «Кланяйся, братцы!.. Это он самый, Фомушкин-то»... Савва перепугался. Пробежали братья-адвокаты, за ними торопливо представитель и купеческий сын, таща за руку вспотевшего Гарькина. Гарькин махнул за собой шабринских. Пеньковцы сошли медленно в швейцарскую.

– Присяжный будете? – вдруг окликнул кто-то Недоуздка. Петр обернулся: перед ним надевал «медведку» благонамеренный граж-

данин.

– Присяжный.

– А!

Благонамеренный гражданин улыбнулся во весь рот, приподнял шляпу, чуть не сделал ручкой и, завернувшись воротником, выбежал на крыльцо.

– Гришка! – крикнул он.

Подкатила пара в яблоках.

– Барыню отвез?

– Отвез.

– К себе?

– Так точно-с.

– Н-ну, так... к Амалии... Па-ашеел! – крикнул благонамеренный гражданин.

Лошади подхватили и вмиг скрылись в снежном вихре.

«Этот чему обрадовался?» – подумал Недоуздок.

С лестницы тихо спускались дама и мужчина; они вели под руки госпожу NN. Пеньковцы уже шли. Недоуздок с Саввой Прокофьевичем приостановился и пристально смотрел на сходявших. За первыми на лестнице показались горбоносый господин, дама с опу-

ценным густым вуалем и оптимист.

– Ты обвиняешь их? – спросила дама горбоносого господина, проходя мимо Недоуздка, и, как ему казалось, кивнула в его сторону.

– Я никого не обвиняю, – раздраженно проворчал пессимист. – Но умиляться-то тоже не от чего...

– Но согласитесь, что известная форма... – заговорил оптимист.

– Форма! Форма! – пессимист передернул плечами. – Насквозь прогнившее содержание...

– Сережа, ради бога тише! – прервала его с мольбою молоденькая дама, боязливо оглядываясь.

– Вы возмущены... Вы все видите... – заметил было опять оптимист.

– Я вижу только одно: глупо-добродушного ребенка, приходящего в восторг.

Оптимист горько улыбнулся.

– Но просвещающее влияние... Вы сами говорили, что «пока»...

– Говорил, потому что был так же глуп...

– Вы, по крайней мере, не можете отрицать, что душа народа...

– Слыхал. Посмотрите, кто идет впереди нас...

– Сережа! – проговорила в волнении молоденькая дама и крепко сжала ему руку. – Час тому назад ты был справедливее.

Горбоносый господин нервно передернул плечами. Разговаривающие прошли.

– О чем они, Петра? – спросил Савва Прокофьич.

– В оба уха слушал, ничего не понял, – отвечал Недоуздок. «И откуда они так научились разговаривать?» – подумал он.

Публика продолжала спускаться с лестницы. Чем ближе к выходу, чем дальше от залы суда, тем смелее высказывались замечания; глухой ропот, едва пронесшийся в зале заседаний, сделался здесь внушительнее и резче.

– Ну что, батюшка, как ты себя чувствуешь? – спрашивала старушка с седыми, распущенными из-под шляпки буклями, опираясь на руку провожавшего ее молодого человека.

– Ma tante[3], прошу вас...

– Нет уж, mon ami[4], ты извини: не поверю... Нет, нет, ты меня этим либеральничаньем не смущай больше... И если ты мне хоть

заикнешься, – лишу, как хочешь... Все Неточке передам... Бог мой!.. Да это так и должно быть: мужики – так мужики и есть... Разве им что-нибудь значит засудить человека?

– Ma tante, из этого ничего не следует. – Юноша подает старухе атласный салоп, и они выходят.

– Помилуйте!.. Разве это возможно? – говорит, гремя саблей, высокий и плотный капитан. – Чего же это прокурор смотрит? Заведомо засуживают мужики невинного человека – и...

– Вероятно, это дело не оставят, – успокаивает его статский.

Перед Недоуздом и Саввой Прокофьичем вдруг останавливается седенький старичок, держа в руках табакерку и разминая в ней пальцами табак.

– Насколько могу припомнить, – говорит он, всматриваясь в них прищуренными глазами, – вы были в составе присяжных?

– Были-с.

– Нехорошо, нехорошо... Гм... – Старичок понюхал табаку. – Зачем же вы человека-то засудили?.. Впрочем, извините, не смею любо-

ПЫТСТВОВАТЬ.

Старичок вытер нос, раскланялся и отошел.

– Да разве мы виноваты? – спросил Савва Недоуздка, боязливо глядя на него.

Зашуршал по полу длинный шлейф. Молодая дама вскинула лорнет и близорукими глазами пристально посмотрела в лицо сначала Недоуздка, потом Саввы Прокофьяча и, сжав губы, прошла мимо. Савве было не по себе.

– Петра, уйдем, – сказал он.

* * *

Трактир политичного гласного был полон. Висевшие с потолков лампы смутно светили в удушливом, наполненном промозглыми парами и табачным дымом воздухе. Безалаберный гул голосов покрывал собою грохот машины, со всем старанием разыгрывавшей веселый мотив. Градский представитель, с блаженной улыбкой и размалеванными яркою краской щеками, стоял перед нею и, растопырив, подобно крыльям, руки, что-то выделявал и ими, и ногами в такт веселому мотиву.

– Наддавай, наддавай!.. Звуку больше! Маленька, вынеси! Голубушка, коленцо! – с ка-

ким-то замиранием объяснялся он с машиною. – Не пискни, голубушка! Раз! Начинает!.. Тише вы!.. Слушай!

Представитель замер. Пьяные гости, бессмысленно улыбаясь и выпучив осовелые глаза, широко раскрыли рты, как бы собираясь со всем усердием проглотить не только «колено», но и всю машину. Половые, ухмыляясь, замерли на своих местах, задержав на минуту неутомимую беготню.

Недоуздок, проходивший в это время с Саввой Прокофьевичем мимо трактира, приостановился и не утерпел, чтобы не удовлетворить своего любопытства.

– Зайдем, – сказал он Савве.

– Нету... Ну их!..

– Не надолго... Только заглянем... Что они там...

Они вошли и присели у дверей. Савва Прокофьевич долго не мог понять, что такое происходило перед ним. Впечатление строго торжественных сцен суда перед многочисленным сборищем городской публики, какое он когда-либо видывал, сцены разъезда после суда, грохот машины, пылающие лица трактирных

гостей – все перемешалось у него в голове. И только когда машина смолкла, он мог рассмотреть разглаживавшего самодовольно бороду Гарькина, сидевшего среди купцов, ослаблявшиеся физиономии мужиков, залезших за ним на «чистую» половину, и, наконец, умиленного представителя, кричавшего: «Важно, маменька! Уважила!»

– Позвольте вас спросить, – вдруг обратился к Савве Прокофьючу купеческий сын, чем-то озабоченный.

Савва Прокофьюч смешался.

– Вы вот с энтим самым господином коммерсантом, – показал Сабилов на Гарькина, – из одной волости будете?

– Нет, мы разных будем.

– Ну, все ж, из одних мест?

– Из мест – из одних... Шабры...

– Ну вот! Ведь он Гарькин будет?

– Он самый.

– Не Савелов?

Савва Прокофьюч замялся: он испугался, как бы ему чего не было.

– Так не Савелов? – допрашивал купеческий сын.

– Нет, не Савелов.

– Ну, так и есть!.. У меня, я помню, где-то записано было... Жена тогда так и сказывала, когда он было меня нагрел... Вы позвольте... Будьте свидетелем... Я сейчас, – проговорил Сабиков и подошел к «братцам-адвокатам».

Савва Прокофьич совсем струсил.

– Н-ну вас тут совсем! – прошептал он и выбрался за дверь.

Гарькин обернулся – Саввы Прокофьича уже не было. Около купеческого сына между тем стали собираться слушатели.

– То-то, думаю себе, как будто затмение, – рассказывал он, размахивая руками. – Мы, изволите видеть, по своей коммерции такого обычая держимся: записывать, кто ежели нашего брата насчет какого товара объедет... Жена, изволите видеть, приехала и говорит: смотрю – плотно...

– Да в чем дело-то, говорите! – крикнул Саша.

– Самозванец, – растерявшись, проговорил Сабиков.

– Кто?

– Вот они-с, – показал он на Гарькина.

– Ах, черт возьми! – с досадой сказал Саша. – Теперь кассируют. А все это мужичье!

– Конечно, Сашурка, они, – поддержал представитель.

Гарькин давно уже подозрительно поглядывал на купеческого сына и вдруг, заметив Недоуздка, побледнел и смолк.

– Что такое? – переспрашивали в трактире.

– Оказия!

– Какая?

– Мужичье кого-то засудило...

– Господин купец! А почему, позвольте спросить, вы пили-пили – и вдруг самозванец? – обратился представитель к Гарькину.

Гарькина охватил столбняк.

В эту минуту какое-то непонятное, необычайное волнение овладело Петром; он покраснел, глаза его забегали.

– Обманщик! Иуда! – крикнул он в лицо Гарькину и, как ребенок, выбежал из трактира.

Гарькин очнулся...

VII

Бегуны

Между тем Савва Прокофьич вернулся на постоянный двор. Пеньковцы только что собирались обедать. Савва Прокофьич присел и ничего не сказал. После обеда он совсем затих, замер и забрался в самый дальний угол избы. Долго и подозрительно всматривался в него Лука Трофимыч, а Савва посидит-посидит и вдруг, без всякой видимой причины, пересядет на другое место.

– Прокофьич, а Прокофьич! – окликнул его Лука Трофимыч.

– А?

– Ты чего?

– Ничего.

Савва пересаживается.

– Чего ты не посидишь толком, Савва?

– Страх...

– Какой страх?

– А так: пред бедой бывает эдак.

– Пужа-ай! Чего у вас там с Недоуздом не было ли? – спрашивает он дальше.

– Было.

– Да что было-то?

– В том и страх, что не знаю.

– Как же так?

– В ум не возьму.

Так пеньковцы ничего и не добились от Саввы Прокофьяча.

Стемнело. Дверь потихоньку отворилась, и медленно вошли все четверо шабринских; физиономии у всех вытянутые, глаза широко открытые, – пришли и, не говоря ни слова, уселись по лавкам, помолчали.

– А-ах, папашенька... Дело-то! – наконец произнес рыжебородый шабер.

– Что еще? – спросил Лука Трофимыч.

– Не слышали нешто?

– Чего слыхать-то?

– Убег ведь... – Кто?

– Наш-то... Парамен Петрович... Умница-то, в бега!

– Как так?

– А так, очень, папашенька, даже просто: в моих и валенках-то... Вот оно что! Пришли этто мы к себе из трактира, глядим: валенок-то моих и нет, а его середь избы валяют-

ся... Это он с тусу-то не разобрал... И опять же теперь шапку баранью забыл, так в шляпе и улетел. Мы спрашивать; говорят: лови в поле ветер! Он теперь так-то ли на парочке по первопутью закатывает!

– С чего ж это он? Али что открылось?

– А вы бы об этом своо молодца спросили.

– Недоуздка? – спросил Лука Трофимыч.

– Верно, что его... Теперь, папашенька, беда... Дело поголовное!

Лука Трофимыч смутился.

Но в эту минуту вошел Недоуздок и молча снял разлётай.

– Петра, что у вас там? – спросил Лука Трофимыч.

– Человека засудили, – сказал Недоуздок и сердито сел за стол, положив на него локти.

– Ну, так и в трактире говорили, – заметил «папашенька».

На минуту все замолчали.

– Обманул! – прошептал Архип, замигав глазами, и вдруг как-то весь сократился еще больше.

Шабры давно уже ушли. Пеньковцы поужинали и собирались спать. Кто-то постучал

и замерзлое окно.

– Не спите? – спросил голос с улицы.

– Нету. Входите, – откликнулся Лука Трофимыч. – Что бы это такое?

– Не в пору весть – худо, – сказал Еремей Горшок.

В это время в избу вошли, стуча сапогами, два земляка-фабричных и наскоро помолились в угол.

– Ну, молитесь, земляки, теперь и вы, – сказали фабричные. – Здравствуйте.

– А что так?

– Помер.

Пеньковцы поднялись и перекрестились.

– Упокой господь его душу! – произнес Лука Трофимыч.

– Не удостоился, значит! – заметил Савва Прокофьич и вдруг пришел в какое-то особенное возбуждение и стал копать в своем углу.

– Ему эта кончина от господа зачтется, – заключили фабричные.

Потом все помолчали немного и затем стали толковать о приготовлении к похоронам.

– А вас кто известил? – спросили пеньков-

цы.

– У нас там фершалок есть знакомый...

– Проститься-то допустят ли?

– Допустят. Этот самый фершалок нам большой приятель... Он нам все это честь честью устроит... Как, значит, званию вашему подобает... А то ведь там как хоронят!

Земляки ушли поздно.

А наутро, когда поднялись пеньковцы и стали собираться в больницу, вдруг заметили, что Савва Прокофьич не ночевал. Думали, не ушел ли он с земляками, но оказалось, что и мешка его нет. Пошли справиться у хозяина, не говорил ли он с ним. Но дворник только их же обругал, что они, не сказавшись, шлются по ночам и всякий народ к себе пускают; а после что пропадет – кляузы пойдут.

– За ваш пятиалтынный только греха не оберешься! – оборвал он, хлопнув дверью. – Неволя одна велит вас пущать-то...

– Ну, братцы, должно, справедливо это говорят: одна беда не ходит, – заметил Лука Трофимыч.

– И с чего бы это он? – раздумывал вслух Еремей Горшок. – Ах, Савва, Савва!

– А это вот все с твоих пустых слов, Еремей Гаврилыч, – ответил ему Лука, – ты все это про бегунов пророчил.

– Ну вот!.. Ври больше!.. Ведь это только у нас разговор был... Разве от этого что может?

– Раздумать это – дело нелегкое, – сказал угрюмо Недоуздок, сделавшийся вдруг почему-то много серьезнее и солиднее.

* * *

До суда пеньковцы сходили попрощаться с Фомушкой.

А на другой день схоронили Фомушку. На похороны собрано было несколько рублей с «судебного персонала» и купцов-присяжных; об этом в особенности хлопотал «мундирный молодой человек». Гроб проводили крестьяне-присяжные, к которым примкнул и купеческий сын, постоянно остривший над «судейским положением», и земляки с завода. Фомушку наскоро и попросту «уложили на вечный покой» под мягкие, пуховые сугробы городского кладбища, покрестились и кстати, тихомолком, вспомнили о Савве Прокофьевиче.

Скоро разошлись провожавшие гроб, а часа через два пошла погода, и от свежей моги-

лы не осталось следа.

Эпилог

Стоял сильный мороз, не тот освежающий мороз, который бодрит дух и тело, но тот, который зовут костоломом, при котором тяжело дышать и в костях ощущается тупая боль. Воздух был сгущен, как будто в нем плавали застывшие пары. Наступали уже су мерки, когда у одного поворота с почтового тракта на проселок остановился обоз-порожняк. Около передовой лошади собралась кучка мужиков. Одни из них вынимали из саней мешки и вскидывали на спины, другие о чем-то говорили.

– Э, братцы, – говорил один мужик, – бог с ними!.. На их деньги не разживешься...

– Ну, ин, коли так... и то! – сказал другой и вскочил в сани. – Все, что ли, почтенные выбрали?

– Все. Невелико имущество, – отвечали седоки.

– Мы как рядились, так и поплатимся. Вы этим себя не стесняйте, – сказал один из седоков, высыпая на ладонь деньги из кожаного

кошеля, висевшего у него на шее.

– Не-ету!.. Мало что там рядились!.. Это так, значит, больше для спокою... А грешить нечего! Он ведь, бог-то, видит! – резонировал первый возчик, берясь за вожжи. – А на полштоф – оно точно... Было бы не обидно... без греха... Мороз-то ведь тоже от господа, вишь какой!

– Ну, так получите. Спасибо вам, братцы. Кабы не вы, может, и не дошли бы в целости до дому.

– Все под богом... Счастдиво!

– Дай бог путь!

Так на пятнадцатый день, по отправлении в «округу», возвратились наши пеньковцы в свои родные палестины. Поправив на плечах мешки, они выступили на узкую, малонаезженную проселочную дорогу, по бокам которой тянулись неоглядною далью сугробы вплоть до «волоости». Они шли торопливым шагом и молчали. Через полчаса ходьбы замигали вдали огни, на беловатом фоне снежной пустыни зачернели избы. Показалась «волоость». Волостные псы приняли было с разных сторон поздних гостей громким лаем,

пока первый встречный пес не учуял «своих» и, виляя хвостом, не подбежал к путникам, не обнюхал гладившую его заскорузлую ладонь и не переменял сердитого, сиплого лая на визгливое приветствие; поняли это и прочие псы и, смолкнув, снова позалезли за подворотни, как за единственную защиту этих неподкупных деревенских стражей от рыскающих в это время голодных волков.

– Гляньте, братцы, у старшины огонь. Надоть бы по-настоящему перво-наперво в волость объявиться, а там уж и домой. Успеем еще к бабам-то, – сказал Лука Трофимыч.

– Поздно, – заметил Бычков.

– Поспеешь. После когда еще собираться! А теперь оправим себя перед обществом – и конец. Благо не спит старшина-то.

Пока они шли к волостному правлению, из изб уже выходили и смотрели, почесываясь, обыватели, поднятые с печей расхोдившимися было псами. Скоро на селе узнали, что кто-то прибыл в волость с новостями.

В «волости» старшина сидел у стола, за которым что-то бойко писал волостной писарь. Старшина то громко зевал, крестил рот, то от

нечего делать поправлял, поплеывая на пальцы, нагар на сальной свечке или коптил печать и делал пробы на лоскутке бумаги. Видимо, ему было очень скучно, и он не знал, как дожидаться, когда писарь подсунет ему бумагу и он приложит к ней обсаленную и накопченную волостную печать, предварительно, с помощью непослушных корявых пальцев, изобразив повыше ее: «Волостной старшина Парфен Силин», – единственные слова, которые его выучил писать писарь в продолжение трех лет; больше же – при всем к чести его относящемся усердии и желании – успехов в грамоте сделать он не мог, благодушно сваливая этот неуспех на свою седину.

– Ну-ну! – встретил весело старшина пеньковцев, очень довольный, что есть чем разогнать скуку. – Вот и пришли... Наши судьи-то!.. Ну, здорово! Садитесь. Теперь вы уж у нас в чинах-то повисились... Поди, к вам и подступу теперь нет!..

– Полно, Парфен Силыч!.. С чего ты? – шутили пеньковцы.

– А что? Знаем мы, брат, каково этой самой понюхать... чести-то...

– Это верно. Ну мы, одначе, не того...
– А что?
– Больше смирились.
– И то дело. И то хорошо.
– Верь им! Как же! – сказал через засунутое между губ перо писарь. – Ты вот посмотри, как они станут поговаривать! Видали мы, что значит мужик в чести!

– Смирились, друг, смирились. Это верно, – подтвердил Лука Трофимыч. – Не ведаем, как с другими от этой чести, а что мы, так, скажем, страх божий узнали.

– И за то возблагодарим создателя!.. А Недоуздок как? Обуздался ли? А?.. Как ты, Петра?

Недоуздок улыбнулся.

– Останешься доволен... насчет узды-то, – сказал он.

– Как можно! Петра у нас много обстоятельнее стал, – подтвердил и Лука Трофимыч. – А уж это на что лучше!

– На что лучше! – согласился и старшина. – Ну, рассказывайте теперь – как, что... Вишь, вон уж набралась деревня-то... Тоже, живя за сугробами, новому рады.

В правление уже, действительно, набились любопытные; все они улыбались и пристально всматривались в пеньковцев, как будто с последними должна была совершиться за две недели удивительная метаморфоза, тут же явились жены Бычкова и Еремея Горшка, так как они были из самого Пенькова.

– Что рассказывать? – сказали присяжные. – Всего не припомнишь сразу... Разве уж помаленьку как ни то, исподволь... А что несчастья наши вам известны...

– Да, что поделаешь!.. Все под богом! Его святая милость, – благочестиво заметил старшина, вообще большой любитель выражаться «от божественного». – Царство небесное рабу твоему Фоме!.. Себя дураками не оказали? В грязь лицом не ударили? Перед господом богом не сфальшивили?

– Кажись бы, нет. А что насчет господ бога... так кто ему, батюшке, не грешен, царю не виноват? Вот хоть бы Савва.

– Ну, Савва... что ж! Дело ваше было немалое... Всяко бывает!.. На каждый час не убережешься, – благодушничал старшина.

- Приобвыкнем.
- Это так. Раз не так, а другой – послужим...
- Достало ли кокурок-то? – спросила Ерему Горшка его баба. – Все я очень сумневалась.
- А-ах, баба! – сказал старшина. – Ты бы спросила, в каких они дворцах сидели... А она – коку-рок!
- Почему знаешь! Думается, кто ж их в палатах-то кормить станет?
- А все ж, бабы, палаты палатами, а напредки больше пеките... Да одевайте теплее – вот что главное!

Старшина зевнул и перекрестил рот.

– И так... с господом! Спать, чать, хотите? А там после – обо всем прочем... Завтра вам честь будет: ко мне заходите... Завтра и об дворцах порасскажете...

– Там честь честью, а с Саввы взыскать штрафной суммы, по требованию окружного суда, в количестве десяти рублей, – проговорил скороговоркой писарь и повернул перед старшиной бумагу.

– Ваше дело, – заметили пеньковцы.

– Наше дело при нас останется... А учить вас тоже нужно... Копти! – сказал он старши-

не, подсовывая печать.

Пеньковцы сдали отчет и разошлись по домам.

Прошел месяц – и все забыли о чести «судейского положения», поглощенной общинною равноправностью. Только за Саввой Прокофьичем надолго осталось прозвище «судейщика», которым окрестили его деревенские ребятишки. Поводом к этому послужило его странное поведение после бегства из округи. Он как пришел в свою деревню, так и не выходил с тех пор из избы, и, при всех убеждениях, старшина не мог его вызвать на разговор, разузнать что-либо. Ребятишки долгое время засматривали любопытно в промерзшие окна к «судейщику» и созидали по поводу его «отшельничества» разнообразные легенды. Одна из них с большою убедительностью рассказывала, как «судейщик спасается». Действительно, едва наступила весна, Савва Прокофьич пришел в первый раз в волю, чтобы выхлопотать паспорт, он отправлялся на богомолье в Соловки.

Примечания

Николай Николаевич Златовратский родился 14 (26) декабря 1845 года в г. Владимире. Его отец, Н. П. Златовратский, мелкий чиновник канцелярии губернского предводителя дворянства, был сыном бедного сельского дьякона Николо-Златовратской церкви, от названия которой, как считают, произошла фамилия писателя.

О решающей роли революционных демократов-«шестидесятников», всей атмосферы общественной и идеологической борьбы кануна 19 февраля 1861 года в идейном и духовном формировании юного Златовратского писатель ярко и живо расскажет в своей книге «Как это было. Очерки и воспоминания из эпохи 60-х годов» (М., 1911).

В 1864 году Н. Златовратский закончил владимирскую гимназию, одновременно сдав экзамен на звание землемера-таксатора.

Поездки в деревню, знакомство с ее бытом и нравами, землемерская практика не только дали ему обширный фактический материал для будущего творчества, но пробудили лю-

бовь к угнетенному народу, стремление искать пути для достижения блага народного.

В 1865 году Златовратский становится вольнослушателем словесного факультета Московского университета. Не выдержав жизненных лишений и голода, через год переезжает в Петербург и поступает в Технологический институт, надеясь получить казенную стипендию. Ведя и здесь жизнь «голодного пролетария», скитаясь «по углам», вынужден оставить мысль о высшем образовании и поступить помощником корректора в газету «Сын отечества».

Знакомство в ранней юности с «Колоколом» Герцена, сочинениями Белинского, Добролюбова, Салтыкова-Щедрина, поэзией Кольцова и Некрасова пробудило страстный интерес Н. Златовратского к литературе, жажду творчества. В гимназии он издает школьный журнал «Наши думы и стремления», пишет стихи «по Некрасову» и «по Кольцову». Несколько юношеских стихотворений Н. Н. Златовратского опубликованы в кн.: Буш В. В. Очерки литературного народничества 70-80-х гг. Л. – М., 1931.

В Петербурге начинается активная литературная деятельность молодого писателя. В 1866 году он дебютировал в журнале «Отечественные записки» рассказом «Чупринский мир» под псевдонимом Н. Череванин. Его рассказы и очерки часто появляются в журналах «Искра», «Будильник», «Семья и школа», в газетах «Неделя», «Новости» под псевдонимом «Маленький Щедрин» и др.

Писатель правдиво рассказывает о своих мытарствах и невзгодах в большом городе, описывает будни служилого люда, городской бедноты, жизнь рабочих стекольных заводов («Рассказы заводского хлопца», 1868—1870), типографских рабочих, крестьян, пришедших в столицу на заработки («В артели», 1876), полупролетарских слоев города («Предводитель золотой роты», 1876), сцены народного и провинциального быта, наблюдения из своей землемерской практики.

Творческие поиски Златовратского в конце 60-х – начале 70-х гг. связаны с демократической обличительно-реалистической прозой той поры, с увлечением сатирами Салтыкова-Щедрина. Некоторые из этих произведе-

ний вошли в книгу «Маленький Щедрин. Сатирические рассказы золотого человека», Спб., 1876.

Свое место в литературе писатель находит в 70-е годы, когда он начал систематически печататься в журнале «Отечественные записки» (где сотрудничал вплоть до его закрытия в 1884 году) и его захватила современная общественная жизнь, литературная борьба.

«...Писательство свое, в лучшем и дорогом для меня смысле, – признавался Златовратский, – я собственно могу считать только с непечатания повести „Крестьяне-присяжные“ в „Отечественных записках“ в 1874 году» (Н. Н. Златовратский. Собрание сочинений. Т. 1—2. М., 1891, т. 1. От автора, с. 7). Повесть была встречена с интересом, особенно прогрессивно настроенной молодой интеллигенцией, принесла автору литературную известность.

В течение последующих десяти лет Златовратский напечатал в этом передовом демократическом журнале все свои самые значительные крупные произведения – повесть «Золотые сердца» (1877), роман «Устой»

(1878—1883), «Деревенский Авраам», (1878), «Очерки деревенской общины (Деревенские будни). Из дневника наблюдателя» (1879), «Кабан» (1880), «Очерки деревенского настроения. Современное обозрение» (1881), «Красный куст» (1881).

О роли журнала в его писательской судьбе Златовратский писал Салтыкову-Щедрину в 1882 году: «Вы сами знаете, что даже то немногое, что я успел еще сделать лично, было исполнено только при неослабном участии ко мне редакции „Отечественных записок“. Вез этого стороннего участия моя деятельность была бы немыслима...» (Литературное наследство. М., 1934. Т. 13—14. С. 366).

В творчестве писателя-народника Салтыков-Щедрин высоко ценил демократизм, любовь к трудовому крестьянству, реализм в воспроизведении пореформенной действительности, особенно те произведения, в которых заключена правда о «колупаевской революции», отдававшей «освобожденного» мужика «на поток и разорение» капиталистическому хищничеству. Очерк «Красный куст. (Из истории межобщинных отношений)» он

назвал «отличной вещью». Резко критиковал народнические иллюзии, веру в общинные «устои».

Конец 70-х – начало 80-х гг. – период высокой творческой и общественной активности Н. Н. Златовратского. Он становится одним из самых популярных писателей передовой литературы своего времени. Сотрудничает в журналах «Северный вестник», «Русская мысль», «Русское богатство», «Устой», «Слово», в «Неделе», «Русских ведомостях» и др. Участвовал в создании и был избран редактором артельного народнического журнала «Русское богатство» (1880). В эти годы созданы лучшие реалистические рассказы о деревенских жителях, хранителях нравственных общинных традиций, – «Авраам», «Деревенский король Лир», «Горе старого Кабана» и др.

Программным произведением в творчестве Н. Н. Златовратского и в народнической беллетристике стал роман «Устой. История одной деревни». Первоначально тема была воплощена в драме «Устой», которую автор назвал «опытом народной комедии». (Не опубликована, сохранилась в рукописи.)

В романе, провозглашенном народнической критикой «величавой эпопеей борьбы старой и новой деревни» (П. Сакулин), наиболее убедительно сказались противоречия идеалов и действительности в творческих исканиях Златовратского. «Старые народники, – писал Плеханов о Златовратском и Г. Успенском, – бесстрашно описывали то, что совершалось перед ними; они не боялись *истины*... им даже и в голову не приходило, что истина противоречит их „идеалам“» (Плеханов Г. В. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 9. С. 164).

А. М. Горький, не принимая «слащавую романтику» Златовратского, называл «Устои» в числе замечательных произведений русской реалистической литературы, отразивших существенные черты своего времени, «волнения эпохи».

Тема подвига, горестных судеб участников народнического движения, споры о путях развития России и месте интеллигенции в развернувшейся борьбе, стремление разночинного интеллигента к духовному единству с народом – всегда волновали писателя. С особой силой они зазвучали в повести «Золотые

сердца», повестях и рассказах 80-х гг. – «Ски-талец», (1881—1884), «Старый грешник» (1881), «Боярская дочь» (1883), «Триумф худож-ника» (1884), «Надо торопиться» (1885), «Мои видения» (1885). «Гетман» (1888), в былинах «Безумец» (1887).

В 1883 году закончился петербургский пе-риод жизни и творчества Златовратского, пи-сатель до конца жизни обосновался в Москве.

В октябре 1883 года он знакомится с Л. Н. Толстым. В 1883—1891 годах, в пору, когда Златовратский переживает тяжелый духов-ный кризис в связи с крахом народнических иллюзии, нарастающей реакцией, писатели неоднократно встречались, переписывались, несмотря на разные взгляды на многие про-блемы времени.

В письме к Златовратскому от 20 (?) мая 1886 года Толстой одобрительно отозвался о его рассказе «Искра божия» (1886), приглаша-ет писателя сотрудничать в «Посреднике». В издательстве «Посредник» несколькими изда-ниями выходили рассказы Златовратского «Искра божия», «Белый старичок», «Деревен-ский король Лир» (под названием «Деревен-

ский король»),

В 1908 году в связи с 80-летием Толстого Златовратский выступил с воспоминаниями о нем («Два слова»).

Толстому посвящен рассказ «Мои видения», статья «Великие заветы» о значении великого писателя для русской литературы.

В 80-90-е гг. в Москве выходят – трижды при жизни автора – собрания сочинений Н. Н. Златовратского: Сочинения. Ч. 1-3, М., 1884—1889; Собрание сочинений: В 2-х т. М., 1891; Сочинения: В 3-х т. М., 1897.

Последнее издание (Златовратский Н. Н. Собрание сочинений. Спб., 1912—1913. Т. 1—8) автор сам редактировал, готовил к печати, но вышло оно посмертно.

В 1884 году произведения Златовратского, широко издававшиеся и имевшие читательский успех, были запрещены к обращению в публичных и народных библиотеках. Запрет был снят лишь через двадцать пять лет.

Революцию 1905 года Златовратский встретил с большим подъемом. В статье «Три легенды» писатель-народник приветствовал бойцов пролетариата, с их приходом ждал

«воплощения царства божия на земле, создаваемого великим творчеством духа человеческой солидарности во имя братства, свободы и справедливости!..» (фрагменты включены в статью «Народничество Н. Н. Златовратского» П. Сакулина – Голос минувшего. 1913. № 1. С. 132).

Теме рабочего класса, труду кустарей, ремесленников Златовратский посвятил в 80-90-е гг. очерк «Город рабочих» (1885), рассказ «Мечтатели» (1893). По воспоминаниям Н. Д. Телешова, «старик Златовратский любил приютить у себя талантливую молодежь из народа, из рабочих...». Многие «были обязаны ему как своим развитием, так и в дальнейшем своим участием в литературных изданиях» (Телешов Н. Записки писателя. М.: Московский рабочий, 1980. С. 107).

В 1900-е годы Златовратский участвует в собраниях демократической русской интеллигенции «Среды», сотрудничает в журналах «Детское чтение», «Вестник воспитания», составляя обзоры, пишет критические заметки и статьи о новых книгах и журналах, занимается библиографической работой в энцикло-

педиях и словарях (обычно под псевдонимами).

Литературно-критические статьи разных лет, рецензии, обзоры не включались ни в одно из четырех изданий собрания сочинений Н. Н. Златовратского, не переиздавались и в наши дни.

Несомненный интерес представляют воспоминания Златовратского «Детские и юные годы», опубликованные в 1908—1910 годах (отдельное издание: «Как это было. Очерки и воспоминания из эпохи 60-х годов. Рассказы о детях освобождения. Детские и юные годы». М., 1911); литературные воспоминания 1895—1897 и 1910-го гг.

В 1909 году Н. Н. Златовратский был избран почетным академиком по разряду изящной словесности.

Писатель умер 10 (23) декабря 1911 года в Москве.

В советский период произведения Н. Н. Златовратского переиздавались отдельными изданиями и в сборниках. Роман «Устой» (1928, 1935, 1947, 1951); «Избранные произведения» («Крестьяне-присяжные», «Устой», «Зо-

лотые сердца»). М., 1947; «Воспоминания». М., 1956. Рассказы «Авраам» (1919, 1926), «Надо торопиться» (1919, 1955, 1961), «Сироты 305-й версты» (1955, 1961), «Рассказы» (Пг., 1919), очерк «Город рабочих» (1956), «Деревенский король Лир» (1957). Опубликована переписка Н. Н. Златовратского с Л. Н. Толстым, М. Е. Салтыковым-Щедриным.

Крестьяне-присяжные

Впервые в журнале «Отечественные записки». 1874, № 12; 1875, № 3. Отдельным изданием – Бытовые очерки. I. Н. Златовратского. Крестьяне-присяжные. Спб, 1875. Включалась во все собрания сочинений Н. Н. Златовратского.

В советский период вошла в книгу: Златовратский Н. Н. Избранные произведения. М.: ОГИЗ, 1947. Текст печатается по этому изданию.

...лежащего в Палестине... – Палестина – здесь: равнина.

...состоявший... сотским... – сотский в до-революционной России – крестьянин, назначающийся в помощь сельской полиции.

...потискали ржанных кокурок... – кокура, кокурка – пресная лепешка, сдобная, иногда с творогом, ватрушка, шаньга.

...отябель... – бесстыжий, наглец, отчаянный, окаянный.

В зажору ... попал... – зажора – талая вода под снегом в рытвинах и ложбинах на дороге.

...на мамону чужую работать! – мамона, мамон – богатство, пожитки, земные сокровища.

...даром что мы казенные были... – государственные (казенные) крестьяне – незакрепощенные, находившиеся на казенных землях, владельцем которых было государство, а не отдельные помещики.

...как положенье вышло... – «Положения» 19 февраля 1861 года, законодательный акт, оформивший отмену крепостного права в России.

Коник, конник – ларь с подъемной крышкой.

Скуфья – остроконечная бархатная черная (фиолетовая) мягкая шапочка у православного духовенства.

Протодьякон – старший по чину дьякон, одно из низших духовных званий.

Фуляр – легкая и мягкая шелковая ткань; здесь: шелковый платок.

Налой, аналой – высокий столик с покатым верхом, на который в церкви кладут иконы, книги.

...плетенки из суконной покромки... – пле-

тенка – здесь: половик, сплетенный из полос сукна.

Бурак – кузовок, коробок, корзиночка.

Шугай, шугайчик – крестьянская коротко-полая кофта.

«*Кобыла*» – скамья, к которой привязывали подвергаемого телесному наказанию.

Примечания

Шабер, шабры – сосед, соседи. *(Прим. автора.)*

[^^^]

Крестьяне, в описываемой нами местности, называют собственниками только тех, которые владеют недвижимым имуществом, приобретенным помимо общего надела и выкупа, и то в значительном количестве. (*Прим. автора.*)

[^^^]

Тетя (*франц.*).

[^^^]

Мой друг (*франц.*).

[^^^]